

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей  
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ  
ТОМ 2



im WERDEN-VERLAG  
МОСКВА - AUGSBURG 2002

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОРОБЬЯ.....	3
2. ПОТОМКИ СОЛНЦА.....	8
3. УЛЯ.....	13
4. ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА.....	17
5. СОЛДАТ И ЦАРИЦА.....	21
6. ЛУННАЯ БОМБА.....	25
7. ТОВАРИЩ ПРОЛЕТАРИАТА.....	36
8. НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК.....	40
9. БРОНЯ.....	42
10. ГЛИНЯНЫЙ ДОМ В УЕЗДНОМ САДУ.....	48
11. В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ.....	55
12. МАРКУН.....	62
13. РАССКАЗ О МЕРТВОМ СТАРИКЕ.....	66
14. ТАҚЫР.....	71
15. СЧАСТЛИВЫЙ КОРНЕПЛОД.....	83

Текст печатается по изданиям:

1, 3, 4, 8-11, 13 — Платонов А. Потомки Солнца. Рассказы и повести. М.: Правда, 1987

2, 6, 12 — Андрей Платонов. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Информпечать, 1998, том 1, стр. 212-219, 220-235, 206-211

7 — Октябрь № 9, 1999

14, 15 — Андрей Платонов. Избранное. Москва. «Московский рабочий». 1988. С. 706-726, 755-762

© «Im-Werden-Verlag». Составление и оформление. 2002

<http://www.imwerden.de>

[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

## ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОРОБЬЯ

*(Сказочное происшествие)*

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему поднимаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, — и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипке музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина...

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, — он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он не даром прилетал — хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр — на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей

был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседали; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажать себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нему: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло еще пять дней, а воробей все не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с крошеным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

\* \* \*

В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, — и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала помещением футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наесться надолго. Старик подошел к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсиянер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Все же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, крошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от

трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, — худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

\* \* \*

Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порывлся ножками в снег, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.

Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, — ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съежился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.

Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато и тепла не было, — он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.

Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться.

Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно; он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать еще немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.

Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, — и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

\* \* \*

Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит по ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного

в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходило сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замиранья сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тяжести ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону — сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, — летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

\* \* \*

В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы согреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

— Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

— Давай, — сказал он. — А где вы ее взяли?

— Она сама с неба на камни упала, — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошел дальше.

Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется.

Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.

Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! — подумал старый человек. — Значит, сердце его отошло от смерти!» — и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, — там лежала вата, там воробью будет мягко.

На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.

Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке не доставало чего-то для полного утешения горящего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.

## ПОТОМКИ СОЛНЦА

(Фантазия)

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.



Ночью душа выростала в мальчишке, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неуправляемые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любит каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он — рос, и все неуправляемое, страшнее клочкотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, — ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

\* \* \*

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, — тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству.

Вогулов работал бесшумно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти — зима, лето и т. д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля, с развитием человечества, становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависят от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав невероятной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в двадцать — тридцать тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, сгущения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к «нормальному» состоянию со странной истребительной, невероятной, не выразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали на Карпатах.

В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завывало над Европой, ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели самолеты, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работ охватило человечество. Температура труда была доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания, человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженными аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекое, великое горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, — и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, — и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материалнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, родясь таким, развив себя невероятной титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную — без звезд и солнц, — одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным, — это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

\* \* \*

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму — и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт.

Вогулов нашел очертание, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично — и вторая критическая точка — инфразлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти колебания от света к инфразлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм — одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполю необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполю. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз — по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполю через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполю. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполю, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, — у начальных точек больше, у конечных — меньше, от этого получаются различные скорости, — то есть содрогания — волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий пятидесяти в двадцатой степени в секунду до одной в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма — вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполю к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрацвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по пятьсот кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную.

И Вогулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна — дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства тысячи кубических километров ультрацвета. Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполюлем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрацвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробов энергии: он взял для этой цели элемент инфраполю с его ужасающим стремлением к

максимальному состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал сто кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года тысяча кубических километров ультрасвета будут готовы.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта.

\* \* \*

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, невероятной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека...

Вогулов разметет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вогулов руками хотел сделать это невозможное сейчас.

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

## УЛЯ

### *Фантастический рассказ*

Жил однажды на свете прекрасный ребенок. Теперь его забыли все люди, и как его звали, тоже забыли. Никто его не помнит — ни имени его, ни лица. Одна бабушка моя помнила того прекрасного ребенка, и она рассказала мне о нем, какой он был.

Бабушка сказала, что ребенка звали Уля, и это была девочка. Все, кто видел маленькую Улю, чувствовали в своем сердце совестливую боль, потому что Уля была нежна лицом и добра нравом, а не каждый, кто смотрел на нее, был честен и добр.

У нее были большие ясные глаза, и всякий человек видел, что в их глубине, на самом их дне, находится самое главное, самое любимое на свете, и каждый хотел взглянуть в глаза Ули и увидеть на дне их самое важное и счастливое для себя... Но Уля моргала, и поэтому никто не успевал разглядеть того, что было в глубине ее ясных глаз. Когда же люди снова смотрели в глаза Ули и некоторые уже начинали понимать то, что они видят там, Уля опять моргала, и нельзя было узнать до конца, что было видно на дне ее глаз.

Один человек успел, однако, посмотреть Уле в глаза до самого дна и увидеть, что там было. Этого человека звали Демьяном; он жил тем, что в урожайные годы дешево покупал хлеб у крестьян, а в голодные годы дорого продавал его, и был с того сам всегда сыт и богат. Демьян увидел в далекой глубине Улиных глаз самого себя, и не такого самого себя, каким он всем казался, а такого, каким он был по правде: с алчной пастью и с лютым взором; скрытая душа Демьяна была явно написана на его лице. И Демьян, как увидел себя, ушел с тех пор с места, где он жил, и никто про него долго ничего не слышал, и уж стали было его забывать.

В глазах Ули отражалась одна истинная правда. Если жестокий человек имел красивое лицо и богатую одежду, то в глазах Ули он был безобразным и покрытым язвами вместо украшений.

Сама же Уля не знала, что в глазах ее отражалась правда. Она была еще мала и неразумна. А другие люди не успевали разглядеть себя в ее глазах, но всякий любовался Улей и думал, что жить хорошо, раз она существует на свете.

Уля не знала своей родной матери и родного отца. Ее нашли в летнее время под сосною у дорожного колодца. Ей было тогда несколько недель от рождения; она лежала на земле, завернутая в теплый платок, и молча глядела на небо большими глазами, в которых менялся цвет: они были то серые, то голубые, то вовсе темные.

Добрые люди взяли ребенка к себе, а одна бездетная крестьянская семья назвала ее своей дочерью, и окрестили ее Ульяной. И всю свою раннюю детскую жизнь Уля прожила в избе у приемных родителей.

Когда она спала, глаза ее бывали закрыты наполовину, и она словно смотрела ими. А под утро, когда рассветало на дворе, в полуоткрытых глазах Ули отражалось все, что было видно за окном избы. Она спала на скамье, и лицо ее освещал ранний день. Ветви ивы, росшей за окном, облака, озаренные первым кротким солнцем, и пролетающие птицы — все это было один раз снаружи, а второй раз — светило в глубине Улиных глаз; но в Уле облака, и птицы, и листья ивы были лучше, яснее и радостней, чем их видели все люди.

Приемные родители так любили маленькую Улю, что от тоски по ней они каждую ночь просыпались. Они сходили с полатей, приближались к Уле и подолгу смотрели в сумраке на спящую чужую дочь, которая им стала милее родной. Им казалось, что свет светит из ее полузакрытых глаз, и в бедной избе было хорошо в этот час, как в день праздника во время их молодости.

— Уля, должно быть, скоро умрет, — тихо говорила мать.

— Молчи, не кличь беду, — говорил отец. — Чего ей помирать в малолетстве?

— Такие долго не живут, — опять говорила мать. — У нее глазки во сне не закрываются.

В их деревне было поверье, что дети, у которых не закрываются во сне глаза, рано умирают.

Сколько раз мать хотела своею рукой опустить веки на глаза Ули, но отец не велел трогать ее, чтобы не испугать. Днем, когда Уля играла в углу с лоскутьями или переливала воду из глиняной миски в железную кружку, отец и тогда остерегался прикоснуться к дочери, словно боясь повредить ее маленькое тело.

Светлые волосы росли на голове Ули, и они вились в локоны, будто это ветер вошел в них и замер. А мягкое лицо Ули и во сне, как наяву, всматривалось куда-то и было озабочено. Отцу и матери казалось тогда, что Уля хочет спросить их о чем-то, что мучает ее, и не может, потому что не умеет говорить.

Отец позвал к Уле доктора-фельдшера. Может, думал отец, у нее есть какая боль и доктор поможет ей. Доктор послушал дыхание Ули и сказал, что у нее все пройдет, когда она вырастет.

— А отчего она всем мила? — спросил отец у доктора. — Лучше бы она была похуже!

— Это игра природы, — ответил доктор.

Отец с матерью обиделись.

— Какая игра! — сказали они. — Она ведь живая, а не игрушка.

Другие люди по-прежнему старались посмотреть в глаза Ули, чтобы увидеть там, какие они есть по правде. Может быть, кто-нибудь и видел себя самого, только про это не говорил, а говорил всем, что не успел рассмотреть, потому что Уля моргнула.

Все люди узнали, что глаза Ули меняли свой цвет. Если она смотрела на доброе — на небо, на бабочку, на корову, на цветок, на прохожего дедушку-бедняка, то глаза ее сияли прозрачным светом, а если она смотрела на то, что скрывало в себе зло, то глаза ее темнели и становились непроглядными. Только в самой глубине Улиных глаз, в самой середине их, был всегда одинаковый ясный свет, и в нем отражалась правда о том человеке или предмете, на который она глядела, — не то, что кажется всем снаружи, а то, что скрыто втайне внутри и невидимо.

Когда Уле сравнялось два года, она стала говорить, и говорила она чисто, но редко, и знала мало слов... Она видела в поле и на деревенской улице то, что всем видно и понятно. Однако Уля всегда удивлялась тому, что видела, а иногда кричала от страха и плакала, показывая туда, на что она смотрела.

— Чего ты? Ты чего, Уленька? — спрашивал ее отец и брал к себе на руки, не понимая, отчего тревожится Уля. — Чего ты так глядишь на меня? Там стадо идет ко двору, а тут — я с тобой.

Уля с испугом смотрела на отца, будто он был ей чужой и она никогда не видела его. Со страхом она сходила на землю и убегала от отца. Так же одинаково она боялась матери и пряталась от нее.

Спокойной Уля была только в темноте, где глаза ее ничего не видели.

Проснувшись утром, Уля сразу хотела убежать из дома. И она уходила в темный овин или в поле, где была в овраге песчаная пещера, и там сидела в сумраке, пока ее не находили отец с матерью. А когда отец или мать брали ее на руки, прижимали к себе и целовали в глаза, то Уля плакала от страха и вся дрожала, будто ее схватывали волки, а не ласкали родители.

Если Уля видела робкую бабочку, летящую поверх травы, она с криком бежала от нее прочь, и еще долго билось ее испуганное сердце. А больше всех Уля боялась одну старуху, мою бабушку, которая была такая старая, что ее и все другие старухи тоже звали бабушкой. Бабушка редко приходила в избу, где жила Уля. А когда приходила, то всегда приносила в подарок девочке лепешку из белой муки, либо кусок сахара, либо вареники, которые вязала целых сорок дней, или еще что, что нужно Уле. Старая бабушка говорила, что она бы уже умерла, ведь ей пришло время, да теперь не может умереть: как вспомнит Улю, так ее слабое сердце опять дышит и бьется, как молодое: оно дышит от любви к Уле, от жалости к ней и от радости.

А Уля, увидев бабушку, тотчас начинала плакать; она не сводила с бабушки своих потемневших глаз и тряслась от страха.

— Она правды не видит! — говорила бабушка. — Она в добром видит злое, а в злом доброе.

— А почему же в глазах ее всю правду истинную видно? — спрашивал отец.

— А потому же! — опять говорила старая бабушка. — В самой-то ней вся правда светится, а сама она света не понимает, и ей все обратно кажется. Ей жить хуже, чем слепой. Пускай бы она уж слепая была.

«Может, и верно бабушка говорит, — подумал тогда отец. — Нехорошее Уля видит хорошим, а доброе дурным».

Цветов Уля не любила, она никогда не трогала их, а набрав в подол черного сору с земли, уходила в темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв глаза. Она не дружила с другими детьми, что жили в деревне, и убегала от них домой.

— Боюсь! — кричала Уля. — Они страшные.

Тогда мать прижимала голову Ули к своей груди, словно хотела спрятать ребенка и успокоить его в своем сердце.

А дети в деревне были небалованные, добрые, на лицо чистые, они тянулись к Уле и улыбались ей.

Мать не понимала, чего Уля боится и что страшное на свете видят ее прекрасные бедные глаза.

— Не бойся, Уленька, — говорила мать, — ничего не бойся, я ведь с тобою.

Уля, поглядев на мать, опять кричала:

— Я боюсь!

— Кого же тебе страшно: это я!

— Я тебя боюсь: ты страшная! — говорила Уля и закрывала глаза, чтобы не видеть матери.

Никто не знал, что видит Уля, а сама она от страха сказать не умела.

В деревне росла еще одна девочка: ей было четыре года от рождения и звали ее Грушей. С ней одной стала играть Уля и полюбила ее. Груша была из себя длиннолицая, за это ее прозвали «кобыльей головкой», и сердитая нравом; она даже своего отца с матерью не любила и обещала, что скоро убежит из дома далеко-далеко и никогда не вернется, потому что тут плохо, а там хорошо.

Уля трогала лицо Груши руками и говорила ей, что она красивая. Глаза Ули глядели на злобное, угрюмое лицо Груши с любованием, будто Уля видела перед собой добрую любящую подругу, хорошую лицом. А Груша однажды нечаянно посмотрела в глаза Ули и успела увидеть в них самое себя, такую, какая она есть по правде. Она закричала от страха и убежала домой. С тех пор Груша стала добрее сердцем и не сердчала на родителей, что дома плохо. Когда же она опять хотела быть злой, то вспоминала свой страшный образ в глазах Ули, пугалась себя и делалась смиренной и кроткой.

Хотя и грустно было видеть Уле цветы и добрые лица людей ужасными, однако она, как все малые дети, ела хлеб, пила молоко и с того росла. А жизнь скоро идет, и вскоре Уле исполнилось сначала пять лет, а потом шесть и семь.

В то время вернулся в их деревню тот мужик Демьян, что давно ушел неизвестно куда. Он вернулся бедным и простым, он стал пахать землю, как все люди, и жил после добрым до старости лет. Он даже хотел, чтобы Улю отдали к нему в дом названной дочерью, потому что он был стар и одинок, но приемные родители Ули не дали своего согласия. Они сами не могли жить без Ули, как взяли ее во двор.

С пяти лет Уля перестала кричать и убегать от страха: она лишь становилась печальной, когда видела перед собой добрую и прекрасную душу, будь то моя старая бабушка или другой кроткий человек, и часто плакала. Однако по-прежнему в глубине ее больших глаз светился истинный образ того, на кого она смотрела. Но сама она не видела правды, а видела ложь. И, словно замершие в удивлении, осматривали весь свет ее доверчивые, грустные глаза, не понимая того, что они видят.

Когда Уле сравнялось семь лет, приемные родители сказали ей, кем они ей приходится, и о том, что родные отец и мать Ули неизвестно где живут, и неизвестно — живы они или нет. Приемные родители сказали это разумно. Они хотели, чтобы девочка узнала правду от них, а не от других людей; чужие люди когда-нибудь скажут ей о том же, но скажут нехорошо и поранят душу ребенка.

— А они тоже страшные? — спросила Уля о своих родных родителях.

— Нет, они не страшные, -- сказал приемный отец. — Они тебя на свет родили, милее их тебе никого нету.

— Ты неправду видишь, дочка, — вздохнула неродная мать. — У тебя глаза порченые.

С тех пор Уля стала жить еще более печальной. Шло лето, и Уля задумала, что под осень она уйдет из дома, чтобы встретить на свете своих родных отца и мать, покинувших ее.

И то лето еще не минуло, как пришла в деревню одна пожилая крестьянка, обутая в лапти и с хлебной котомкой за плечами. Видно было, что она шла издалека и утомилась. Она села у дорожного колодца, возле которого росла старая сосна, поглядела на дерево, потом поднялась



и ощупала землю вокруг сосны, точно искала что-то, давно оставленное и забытое. Переобувшись, женщина подошла к избе, где жил Демьян, и села на завалинок.

Прохожих никого не было, люди работали в поле, и женщина-странница долго сидела одна. Потом из одного двора вышла девочка. Она увидела чужую женщину и приблизилась к ней.

— Ты не страшная, — сказала девочка с большими светящимися чистым светом глазами.

Странница посмотрела на девочку, взяла ее за руку, потом обняла ее и прижала к себе. Девочка не испугалась и не вскрикнула. Тогда женщина поцеловала ребенка в один глаз и в другой, а сама заплакала: она узнала в Уле свою дочь — по глазам ее, по родинке на шее, по всему ее телу и по своему задрожавшему сердцу.

— Молода я была, глупа была, на людей тебя бросила, — говорила женщина. — За тобой теперь пришла.

Уля прижалась к мягкой теплой груди женщины и задремала.

— Я матерью тебе прихожусь, — сказала женщина и опять поцеловала Улю в ее полузакрытые глаза.

Поцелуй матери исцелил Улины глаза, и с того дня она стала видеть белый свет, озаренный солнцем, так же обыкновенно, как все другие люди. Она смиренно глядела перед собой серыми ясными глазами и никого не боялась. Она видела правильно — прекрасное и доброе, что есть на земле, ей теперь не казалось страшным и безобразным, а злое и жестокое — прекрасным, как было без родной матери.

Однако в глубине Улиных глаз с этого времени ничего не стало видно: тайный образ правды в них исчез. Уля не почувствовала горя, что правда более не светится в ее глазах, а ее родная мать тоже не опечалилась, узнав об этом.

— Людям не нужно видеть правду, — сказала мать, — они сами ее знают, а кто не знает, тот и увидит, так не поверит.

В то время моя старая бабушка умерла и больше ничего не могла рассказать мне об Уле. Но спустя много времени я сам увидел однажды Улю. Она стала красивой девушкой, столь красивой, что была лучше, чем нужно людям: и поэтому люди любовались ею, но сердце их оставалось равнодушным к ней.

## **ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА**

### *Фантастический рассказ*

Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету.

Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.

Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:

— Ты кто? Что ты мне говоришь?

Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.

— Ты кто? — спросил еще раз Егор, не видя никого.

Никто ему не ответил более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.

Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет.

— Ты кто? — спросил Егор у жука.

Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то — неизвестно кто.

— Ты врешь! — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.

Жук молчал; он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.

— Ты врешь, что ты жук! — произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. — Ты не притворяйся, я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся.

Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.

— Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. — И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.

Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешком. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.

Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.

«Кто же это такой? — озадачился Егор перед червем. — Он без глаз и без головы, о чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой.

Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.

Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.

— Ты кто? — спросил Егор, приблизив червя к лицу.

Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.

— Отчего ты живешь? — говорил Егор. — Хорошо тебе или нет?

Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать: он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь — только начавшаяся, долгая, всю ее не проспшишь; и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят, — и люди и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете — его никто не видит и не помнит.

Червь лежал в руке Егора.

— Давай я буду тобою, а ты будешь мною, — сказал червю Егор. — Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.

Червь не соглашался; он, наверно, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

— Мне надоело быть все Егором и Егором, — говорил мальчик один. — Я хочу быть еще чем-нибудь. Проснись, червяк. Давай с тобой разговаривать — ты думай про меня, а я буду про тебя...

Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.

— Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, — сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. — Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет тех, кто не спит, и с собой уводит.

— Мама, а она кто? — спросил Егор.

— Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается...

— А она кто?

— А кто ж ее знает, сынок. Ты спи, — произнесла мать. — Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.

— А где она живет? — узнавал Егор.

— Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет — она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дожидаться, когда все помрут и будет одна она ходить, железная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру...

Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.

— Мама, а кто ты? — спросил он.

Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлет.

«А кто я? — думал Егор и не знал. — Кто-нибудь я тоже есть. Так не бывает, чтобы я был никто!»

В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверно, быть деревом, оно живет на одном месте.

— Мама, — тихо позвал Егор и высунул голову из-под одеяла наружу. -- Что такое клен?

Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходящее в просяное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле, и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверно, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?

Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять — ехала ли то телега вдали, или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дожидается, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, — решил Егор. -- Что там ночью, кто старуха?»

Он надел штаны и ушел босой наружу. Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.

Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, — поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов.

Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.

Овраг был старый, его не размывала большая вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.

Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем на верху земли, — ни травинка, ни лист не шевелились тут, — и ему стало страшно.

— Звезды, глядите на меня, — прошептал Егор, — а то я боюсь один!

Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.

Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного, — он умирился за день жить и ходить.

— А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу, — сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.

Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.

Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.

— Ты кто? — спросил Егор. — Ты старуха?

— Старуха, — сказала старуха.

— А ты железная?.. Мне нужна железная.

— Зачем я тебе? — спросила железная старуха.

— Я хочу тебя увидеть — ты кто, ты зачем? — говорил Егор.

— Помирать будешь, тогда скажу, — ответил голос старухи.

— Скажи, я помру, — согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.

— Иди ко мне, я тебе скажу на ухо, — и старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. — Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.

— А ты кто, ты скажи, — узнавал Егор. — Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.

Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиной к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:

— Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью! — Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и прикинул к земле.

Но обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:

— Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.

«Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся.

Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:

— Ты кто? Ты не старуха?

— А ты кто? — спросила его мать.

Егор открыл глаза и вновь зажмурил их — свет солнца освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.

— Ты зачем сбежал в овраг? — спросила мать. — Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении.

Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.

Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.

— Иди своими ногами, борец!.. Тебе это приснилось.

— Нет, я правда ее видел, — сказал Егор. — Железные старухи бывают.

— А может, и бывают, — произнесла мать и повела сына домой.

— Мама, а кто она?

— А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ль, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.

— Судьба, — промолвил Егор, не зная, что она означает. — Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху...

— Поймай, поймай ее, сынок, — сказала мать. — Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.

— Давай, — согласился Егор. — Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я утомился от нее.

Они вошли в сени избы. В сенях по полу вполз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой! — осерчал Егор. — Ишь ты. Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь — сам стану железным стариком!»

Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она околеет. А потом я железным не буду — не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».

## СОЛДАТ И ЦАРИЦА

Жила-была в старину сердитая царица. Все ей было не по нраву: и то не так и это не по ней.

Вот гуляет однажды царица по саду, а солдат возле будки на часах стоит. Увидел солдат царицу — никогда ее не видел. «Ишь ты!» — подумал и ухмыльнулся. Не знал солдат — внове стоял при дворце, — что пред царицей ни ухмыльнуться нельзя, ни нахмуриться, ни умильным быть: все одно царица нравом кипела.

Глянула царица на солдата:

— Ты чего ухмыляешься?

А простой солдат чего скажет царице? Ничего он сказать не мог и невзначай или так, просто, что ль, опять ухмыльнулся. Тут царица сперва и слова сказать не могла от злости. Потом кликнула кого надо.

— Давать, — приказывает, — этому солдату по двадцать палок каждый день с утра.

С тех пор с утра, как встанет, получает солдат двадцать палок.

Били-били солдата, целый год били. Как проснется — так двадцать палок, хоть в будни, хоть в праздник. Измучился, исхудал солдат, бить его не во что стало. А царица и забыла про него: пусть бьют до смерти; она теперь на других серчает.

Что тут делать солдату? Не миновать ему смерти от палок, забьют его. Солдат у того, у другого спрашивает — выбирает, кто поумней считается. А умные ему в один ответ.

— Терпи, — говорят. — Чего с царицей сделаешь, она сердитая.

Солдат выслушал умных, а сам подумал: «Эх, не вам терпеть, а мне!» — и пошел к дураку.

При войске у них дурак жил, его солдаты с кухни кормили и выношенную одежду давали ему донашивать.

Солдат сказал дураку, как ему живется, а дурак и сам уж знал.

— Э, да не поможешь ты мне! — сказал солдат. — Ведь ты дурак.

А дурак:

— Как так — не помогу! А не помогу, так и зла не сделаю, ты при своем останешься. Дай мне копейку.

Дал ему солдат копейку. Повел дурак солдата на край города. Шли они, шли, шли, далеко ушли; кругом их бедные домишки стоят, дворцов давно нету.

«Эх, — думает солдат, — далече мы зашли, пропала моя копейка!»

Пришли они в бедный домишко. Жил там сапожник с женой.

У сапожника была жена, сходственная с царицей, как родная сестра: поставь ее рядом с царицей, их и отличить нельзя, которая царица, которая сапожница.

За показ жены сапожник брал по копейке с человека — с купца там, с мастерового, с приказчика, а солдатам и калекам показывал даром. А деньги пропивал.

Заплатил дурак копейку сапожнику, а солдат, конечно, даром прошел. Вошли они в комнату и видят — на кровати женщина лежит и спит. Солдат дрогнул и во фрунт стал: вылитая была перед ним царица.

Дурак и говорит:

— Вот была бы она царицей, она бы тебя палкой не била.

Солдат согласен с дураком:

-- Не била бы. Жалко, что она сапожница: из нее бы царица хорошая вышла.

Дурак засмеялся.

— А выйдет, — говорит, — из нее царица!

Солдат обнадежился:

— А как выйдет-то?

Дурак захохотал в ответ, а солдат увел его прочь, а то сапожница проснется.

Идут они обратно.

Дурак спрашивает у солдата:

— Ты где ночью на карауле стоишь?

— Нынче во дворце, в покоях, буду стоять.

— Вот чего, — дурак ему, — я тебе ночью сапожницу приволоку.

— Это к чему же? А сапожник услышит?

— Нет, — дурак отвечает. — Сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется и спит крепко: на нем кривые гвозди выпрямляй — он не чувствует.

— А к чему мне сапожница?

— Эх ты какой! А говорят — я дурак! Царица-то заснет, ты мне и давай ее сонную, а я тебе на руки — сонную сапожницу. Царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царские покои отнеси, покуда она не проснулась.

Солдат подумал:

«А не страховито ли будет? При царице и моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь! А вдруг проснется? Да она нам голову прочь!»

А дурак думает иное:

«Царица целый день злится, с утра до вечера умается, а ночью спит-храпит, пузыри изо рта пускает. До своего времени она не проснется. А если и дознается, так я в дураках хожу — какой с меня спрос!»

Солдат согласился:

— Ишь ты, обдумал как! А сам дурак! Так ладно будет, пожалуй. Тащи уж по темноте сапожницу во дворец.

За ночь дурак так и сделал: сапожницу в царские покои принес, а царицу отнес к сапожнику — они и не проснулись.

А как наступило утро, проснулся первым сапожник и толкнул жену в бок. Ему и воды испить захотелось, и курить надо, и голова у него болит: пусть жена ему воды подаст, трубку найдет и в утешенье что-нибудь скажет.

Царица проснулась, открыла глаза, не поняла ничего и опять заснула.

Сапожник ее опять в бок: ты что, дескать, иль не слышишь?

— Подымайся, баба! — сапожник говорит. — Пора.

Царица опять открыла глаза.

— Чего пора? — спрашивает. — Ты кто такой?

А сапожник ей:

— А ты кто такая?

Царица как закричит:

— Ах ты негодный! Ах ты окаянный! Да ведь я царица!

Сапожник как соскочит с кровати:

— Ах, так ты царица?

Схватил сапожничий ремень, шпандырь, и давай царицу пороть-охлаживать:

— Ах, так ты царица? Так тебе и надо, царице! Ишь ты, лодырь, ишь ты, негодница! Только спать здорова. Я тебе дам — царица! Я тебе дам — как мужу своему не угождать!

Царица как крикнет:

— Эй, кто там! Забить этого негодяя насмерть!

А никто не идет — нету никого. Царица и думает: «Что такое? Видно, я померла и в ад попала — так это, верно, чорт».

Подумала так и опять заснула: может, опять-де проснусь во дворце, в своем царстве, и ничего этого не будет; это мне снится. Ан нет, чорт-сапожник ремень положил да опять кулаком ее в бок:

— Баба, чего не встаешь?

— Отвяжись от меня, я царица!

— Как так — ты опять царица? — говорит сапожник — и сызнава царицу хлоп да хлоп!

Недобрый был человек. — Подымайся, тебе говорят! Картошку вари, самовар ставь, комнату убирай, портки мне заштопай. Ишь ты, притворщица!

Оробела царица — опять ее этот чорт бить да хлопать будет. А больно ей ведь — ей больнее всех: до того она боли-то и не знала. Поднялась она, приделась в платье сапожницы и стала работать по дому.

Однако за что ни возьмется, ничего у нее не выходит, из рук все валится. Оно так и быть должно: царица-то сердчать да царствовать привыкла, только всего.

Сапожник видит — дело у нее не идет, и опять хлоп да хлоп ее. Царица уж молчит и не говорит, что она царица, а сама работать старается.

Вот сготовила она кое-как обед, а его и есть нельзя: недоварено, пересолено, нечисто.

Съел сапожник одну ложку щей и говорит:

— Ты и правда, должно, царица: ничего делать не умеешь. Таких щей и псы не едят.

И снова за свое: хлоп ее — за плохие, значит, щи.

Царица совсем оробела. Сидит она перед сапожником и трясется от страха.

После обеда сапожник лег в кровать:

— Возьми гребень, жена, расчеши мне голову, а я дремать буду.

Стала царица голову сапожнику чесать; что ж делать-то, послушаться нельзя.

А на другой день велел ей сапожник белье стирать.

Стирает белье царица; сроду она не стирала, все белые руки свои стерла, исстирала, а белье не выбелила.

Так и жила царица у сапожника, жила да мучилась; три дня жила.

А сапожница, как проснулась в царицыной постели, огляделась кругом, видит — приятно везде. На кровати перины, одеванья шелковые и ковровые, зеркала светятся, горница вся прибрана, и цветами пахнет.

«Аль я в раю? — подумала сапожница. — Век того не видела, что вижу».

Тут вошли в спальную горницу четыре горничные девушки. Вошли они, а подойти к царице боятся.

— Вам чего надо? — спрашивает их сапожница.

Девушки ей отвечают:

— Здравствуй, матушка царица! А мы тебя одевать, обувать пришли.

Сапожница им:

— А я сама оденусь. Иль я калека?

А девушки стоят, не уходят.

Сапожница глядит на них:

— Чего ж вы стоите? Неужели дела у вас нету, бездельницы!

А девушки глядят на табуретку у кровати, а на табуретке палка лежит и плетка.

— А бить-то нас будешь когда, матушка? — спросили девушки. — Теперь иль после?

— Да за что ж вас бить? Вам больно будет!

— А за то, матушка царица, что вам сердать надо!

Тут и сапожница рассерчала:

— Дуры вы, что ли? Идите прочь да делом займитесь!

Девушки ушли. А сапожница поднялась, оделась, пошла на кухню и там чаю с бубликами напилась.

На кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом и почтением, сахару подают сколько хочешь — каждый думает, что она царица. И сапожница стала думать, что она царица.

«Чего это, — думает, — царица я, что ль? Знать, и правда царица. Ну что ж, и царицей теперь побуду, сапожницей-то успею. Пусть мужик мой по мне поскучает! Царицей-то оно и легче быть».

Вот живет она царицей и день и два. С утра до вечера позади царицы вельможа ходит, все ее приказы и желанья пишет и исполняет. Царица уж привыкла к тому вельможе: кто ни обратится к ней с просьбой или с чем, она только укажет:

— Скажи заднему, он исполнит, — и далее идет.

Идет она и семечки грызет, а семечки для нее вельможа в горсти держит и руку наотлет вытянул.

В тот час наш солдат у деревянной будки стоял. Видит он — идет, гуляет сапожница-царица. А солдата по-прежнему палками бьют, и нынче били с утра.

Глянул солдат на сапожницу-царицу, хотел суровое выраженье на лице сделать — и ухмыльнулся.

Сапожница-царица и обращается к нему:

— Ты чего ухмыляешься? Мне, что ль, обрадовался?

Солдат ей в ответ:

— Тебе, матушка!

— А чего радуешься? Я тебе добра не сделала. Чего ты хочешь?

— А того хочу, матушка, пусть меня палками не бьют. Второй год с утра спозаранку колотят, мясо с костей стерли.

— За что ж тебя?

— За ухмылку, матушка.

— Ну, скажи заднему, пусть тебя не бьют.

— Нет уж, матушка, — солдат сапожнице-царице говорит, — заднему я говорить не буду: ты передняя, ты сама упомни и прикажи.

Царица остановилась около солдата:

— Ишь ты, какой въедливый! Ладно уж, я сама прикажу и бумагу напишу — не будут тебя бить.

— И других прочих, матушка, пусть не бьют!

— Аль многих тут бьют?



— Да почитай что почти всех, матушка, колотят. Истерлись люди при дворце, а из терпенья не выходят.

— Дураки они, что ль? — спрашивает сапожница-царица.

— Не могу знать, матушка!

В тот же день сапожница-царица дала повеление, чтоб никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека.

А солдатам велела дать по двадцать пять рублей каждому, а сверх того по три дня гулянья и по полведра пива.

На третий день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику.

«Пойду, — думает, — погляжу издали, как он там. Небось горюет по мне».

Собралась царица и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней вельможа идет.

Вот идет она, царица, видит свой бедный домишко.

А из ворот того домишки как раз ее сапожник выходит, и не один, как следовало бы, а с другою дородною женщиной, что не хуже самой сапожницы, и на лице у сапожника горя нету.

Тут как вскрикнет сапожница-царица:

— Ах ты, бессовестный, ах ты, такой-сякой! — да хватъ сапожника по затылку, с того и картуз соскочил.

А сапожник никак не опомнится: глядит он и на ту женщину и на эту, обе они на вид одинаковые, а которая жена — не разберет.

Только когда сапожница-царица по спине его еще разок хлопнула, сапожник понял, которая его жена.

Взяла сапожница мужа за руку и повела домой, а про царство свое забыла.

А царица скрипнула зубами на вельможу и тоже домой пошла, во дворец.

Как явилась она во дворец и узнала, что бить теперь, драть, пороть и лупить никого нельзя — отмена вышла — и будто она сама так повелела, закипело злобой сердце царицы.

Позвала она кого ни на есть, чтоб ударить кого было. Явилась кухарка, подняла царица на нее руку, да видит вдруг — рука-то ее, царицына, исстирана, работой истерта, и опустила она свою руку, никого не ударила.

Вспомнила она, как жила у сапожника: как бы опять ей в жены к нему не попасть, — и оставила царица волю сапожницы как есть.

И солдат с дураком довольны остались. А только царице веры нету и не будет.

## **«ЛУННАЯ БОМБА»**

*Фантастический рассказ*

### *1. ПРОЕКТ КРЕЙЦКОПФА*

Сын шахтера, инженер Петер Крейцкопф, в столице своей страны был в первый раз. Вихрь автомобилей и грохот надземных железных дорог приводил его в восторг. Город, должно быть, населен почти одними механиками! Но заводов не было видно, — Крейцкопф сидел на лавочке центрального парка, а заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молод и совсем не имел денег; он поссорился с администрацией копей, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал в своей копи, был отдан под суд, уволен и приехал в столицу.

Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр: он никогда не просыпался, потому что и не ложился спать. Его жизнью было — равномерно-ускоренное движение. Город

не имел никакой связи с природой: это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира.

Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог бы быть стоянкой воздушных кораблей.

Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу: его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петер приехал. Петер предостерегал ее: «Не стоит расходиться, Эрна. Мы жили с тобой семь лет. Дальше будет легче. Я поеду в центр и приступлю к постройке «лунной бомбы», — мне дадут денег, наверное, дадут».

Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копей, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера — узких специалистов, сознательно считавших себя атомами человеческого знания. Самый частый разговор, слышанный Эрной, это слова сослуживца Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать».

— А того и не знаете, — ответила тогда Эрна, — что люди живут не для того, чтобы знать...

Петер понимал и Эрну, и своих друзей, а его-то они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела друзей Петера — мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петером в ненужных спорах до полуночи.

Крейцкопф знал, что у него мало общего с Эрной: он, полусамочка, инженер по призванию, — и она, овладевшая последними «цветами культуры», ему недоступными.

И Эрна ушла от него в свой круг людей.

Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.

\* \* \*

От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удесятерилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой жене. И вот все истреблено неясными стихиями: люди обманули и предали, его труд был не нужен для них, жена полюбила другого и возненавидела его, творчество привело его к одиночеству и нищете.

— Неужели нет спасения? Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое, — или я одолею все видимое и невидимое!

Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в Научно-технический Комитет Республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда.

Его принял председатель Комитета, инженер-путеец. Крейцкопф изложил свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами.

Предложение касалось «лунной бомбы» — некоего транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде, в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на диске, стационарно установленном на земле. Шар укреплялся на периферии диска; сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное, — в зависимости от того, куда посылался снаряд: на земную станцию или на другую планету.

Диску давалось достаточное для достижения снарядом со станции назначения вращение; по достижении диском необходимого числа оборотов, в нужном положении диска, соответствовавшем направлению линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал

по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды.

Безопасный спуск снаряда на землю (или на другую планету) обеспечивался автоматами на самом снаряде: при приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в том же направлении, что и полет, — отдачей достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля.

Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В «лунной бомбе» будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве, близ Луны, температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы; наконец, киноаппараты воспримут через особые микроскопы все, что несется мимо снаряда. Конечно, в конструкции всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние «лунной бомбы».

Крейцкопф руководился тайной мыслью: народонаселения на земле много, — в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли проходят дни неповторимой жизни. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И, когда откроются безмерные недра чужого звездного дара, человек будет больше нуждаться в человеке...

— Урожай у нас ожидается хороший, — выслушав его, в раздумье сказал председатель Комитета, — промышленность налажена, идет новое строительство... Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас требуется по смете? Шестьсот тысяч? Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед Пленумом Комитета, добиться положительного заключения Пленума и тогда уже войти с представлением в правительство... Пленум Комитета у нас соберется... сегодня вторник... в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны?

— Я в вашем распоряжении, — ответил Крейцкопф.

— Хорошо. Значит, до пятницы. Будьте здоровы.

— До свиданья.

Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы, три дня, и где взять еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету. Начал с объявлений. «...Требуется инженер... в отъезд... в отъезд...» Нет ничего нужного. Вот: «Требуется конструктор... генераторов...» Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще: «Нужен временно шофер для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику...»

Это идет: Крейцкопф имел два автомобиля (подарки жены в первый год их жизни), ездить умел отлично и любил это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жалованье, к его удивлению, большее, чем он получал в копях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж.

Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его.

## *2. ТРАГЕДИЯ НА ШОССЕ*

Утром Крейцкопф пошел на окраину города, в гараж, на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Крейцкопф курил и боролся со сном.

Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину: с виду похожа на тип девяностосильных «испаносуиза», но было в ней что-то иное: диаметр колес увеличен и радиатор — полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина шла мягко и тянула бешено, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз.

Крейцкопфу дали задание сделать сегодня до обеда триста километров по счетчику и возвратиться после этой дистанции.

Шоссе лежало пустым. Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Таксометр показывал сто четыре километра. Но мотор разогревался и усиливал тягу. Сто восемнадцать километров... Мимо несся ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория.

Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф набирал скорость. Сто сорок три километра... Дорога безлюдна, мертво наше прошлое, а навстречу — ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо без тормоза. Дальше шел небольшой поворот, машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил курчавую головку ребенка...

Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась, запыхала вывернутая мостовая, но ребенка ударило правым фонарем, и голова его раскололась по черепным швам. Густая кровь залила его рубашечку, неповрежденные глаза полуприкрылись длинными ресницами, и пухлые алые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется.

Крейцкопф оледенел от рвущего тело страдания, он крикнул, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупку ребенка, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел.

Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил его в автомобиль. Это был мальчик, на фуражке его было написано «Океан». Кровь запеклась и остановилась. Мальчику было лет пять.

Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти трупик. Но не было никого. И Крейцкопф погнался, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку таксометра, — и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он рыдал, налегая грудью на руль. Трупик ребенка свалился с сиденья на пол и там шевелился от тряски, словно в конвульсиях.

Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез с трупиком и положил его в готовую могилу. Личико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и обмыл его начисто, потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо.

— Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой... — шептал Крейцкопф, и горе горело в нем жгучим костром. Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой «Океан», потом засыпал могилу при помощи автомобильного инструмента. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать.

— Я искуплю тебя, милый, — прошептал он и пошел к машине. — Что Эрна! Тут будет теперь моя вечная нежность!

Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, прижимая рукой к рулю круглую шапочку «Океан» с прядью тонких русых волос.

Вернувшись в гараж. Крейцкопф взял аванс под жалованье и ушел в город. Он купил вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его: «Родители умоляют... ушел из дому в шесть часов утра... звать Гога... четыре с половиной года, русский, очень ласковый, фуражечка с надписью «Океан»... свекловичное хозяйство Ромпа... директору Фемм...»

— Гога Фемм, — шептал Крейцкопф. — Но что же мне делать, ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздавлен!..

\* \* \*

Пришла пятница. Крейцкопф защищал в Центральном Научно-Техническом Комитете свой проект и защитил его. Он спорил и бился отчаянно, и мертвый мальчик стоял в его памяти.

Проект получил визу Комитета и пошел в правительство. Не раньше чем через месяц станет известным результат.

Крейцкопф по-прежнему обкатывал машины, убивая вечера в кино и в бесцельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, каким-то путем узнавшей его адрес: «Петер, я вышла замуж за инженера Нимта. Мы с мужем уезжаем до Нового года в Брюссель. Хотела бы иногда тебя видеть, как друга. Прошлого не изгладишь сразу. Мы будем в столице с 20-го по 25 августа. Жить будем в «Майоне». Я слышала, ты не очень счастлив, служишь шофером. С твоего разрешения, я могу попросить мужа устранить препятствия, мешающие твоей карьере. Ведь ты чрезвычайно одаренный человек, я это знаю. Отвечай мне в Карбоморт. Эрна».

Крейцкопф ничего, конечно, ей не ответил.

Шли недели. Крейцкопфа ценили на новой службе, и раз он участвовал на официальных гонках, где выиграл второй приз.

Наконец его вызвал Комитет. От правительства пришел ответ: деньги по смете будут отпущены в два года равными долями, к работам можно приступать, все результаты исследования межпланетного пути и Луны поступают в собственность правительства.

### *3. КАТАСТРОФА ПРИ ПОСТРОЙКЕ*

Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо... что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого из близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель: «Эрна, бомба будет брошена через два года, строю».

Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку».

Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи. И не мог сдержать себя: он пел в своей комнате странным голосом путанные песни и ходил в пивную с шоферами.

Началась постройка. На плацдарме, открытом всему небу, бутили фундамент под электромотор в сто двадцать тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник — подпятник кидającego диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор.

Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем, как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в «лунной бомбе» летной живой силы в полгода, но план финансирования был растянут на два года.

Самый снаряд строился Машиностроительным Трестом Монте-Монд, и его должны были закончить через пять месяцев.

Но черный случай шел вслед Крейцкопфу: при взрывных работах в котловане опорного подшипника сорок рабочих, из них пять лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала особо назначенная комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая экспертиза. Однако сорок трупов были обернуты в грубый холст и отвезены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф молчал и не предпринимал никаких шагов снова наладить постройку. В нем физически явственно разрушалось сердце. Он нечаянно умертвил рабочих. Крейцкопф раньше пробовал свой метод в копиях, правда, в отсутствие людей, — и горные породы превращались в тонкий прах.

Метод состоял в том, что в материю, подлежащую превращению из минералов в пыль, направлялись электромагнитные волны таких периодов и такой длины, что они совпадали с естественным колебанием электронов атомов материи. Эти искусственные волны раскачивали, усиливали электронный пульс атомов, и атом разрывался, частью превращаясь в неизвестный, неосязаемый газ, частью в легкую пудру.

Зная (теоретически точно) безвредность электромагнитных волн такой структуры для человека, Крейцкопф, ничего не говоря, пустил в действие свой аппарат в направлении котлована. И он посеял смерть среди людей.

Странно, что следователь не обнаружил в Крейцкопфе преступника: его томящееся сердце было видно на его лице и в его глазах.

Работы возобновились, но шли тихо, и Крейцкопф не торопил производителей работ. Но скоро снова вышла заминка, где Крейцкопф был ни при чем: в финансовой части работ обнаружили крупные хищения, кассир и начальник части скрылись. Крейцкопфа обвинили в административной халатности и даже, по какому-то грязному доносу, в соучастии.

Крейцкопф не защищался. Работы приостановили. Правительство назначило Особую техническую комиссию для пересмотра всего проекта, а Крейцкопф был судим и приговорен к одиночному заключению на год.

#### *4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ТЮРЬМЕ*

Очутившись в камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист, Эрна была в Брюсселе, Гога Фемм в могиле, те сорок тоже — прах. Впереди одна мертвая мечта — лунный полет.

Крейцкопф заболел какой-то кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях, по опавшим листьям, ступала осень в природе.

Выздоровливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий парк; там пели поздние птицы.

Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира, потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы, а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвый, с ногами, упертыми в собственную голову, сломанный пополам в седалище.

Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство часового и приговорили к восьми годам, по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы.

Время стало мутным и неистощимым: шли дни, как годы, шли недели, медленно, как поколения. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить: стало легче на одну нитку.

Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки «лунной бомбы». Правительство предложило подождать заключения Особой технической комиссии по пересмотру проекта в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы: проект верен, и если бомба не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться; предвидеть же все случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая комиссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как о человеке исключительного технического творческого дара и огромных познаний.

Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства. Все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом, убийцей и темным бродягой, но что все же дать ему кончить «лунную бомбу» следует. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго приспособлялся и трудно вспоминал когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую, конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо — инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и Ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа.

Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно: его интересовало только дело лунных изысканий, и он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу: Нимт и она жили в городе.

## *5. В СТОЛИЦЕ МЕТАЛЛУРГИИ*

Снаряд был наконец готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска: диск должны были установить под некоторым углом к геометрической поверхности земного шара, и этот угол нужно было соблюсти с предельной тщательностью: угол наклона диска определял путь полета «лунной бомбы».

Весной работы были приостановлены на пять месяцев: надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания.

Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стуасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана.

Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было четыре тысячи километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собой недолго поживший тепловоз.

Газовоз представлял собою газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух: передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель; он работал на газе каменного угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых и малогорючих углей и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ.

Газовоз возил с собою на прицепке два вагона-аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые триста — четыреста километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек.

Против паровоза газовоз вез дешевле в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости.

Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах, — тяжелый труд сельского хозяина упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость больших городов, а также за лунный полет.

Крейцкопф заметно поседел, состарился и потерял детский интерес к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль, — еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь как редчайшее событие.

Крейцкопф хотел бы друга, задушевного негромкого разговора и простой теплоты, невнятно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным — и в гениальности и в преступлении, а Крейцкопф был обычным и простым человеком. Ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание.

На вторые сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов: это были предгорья великой Алдаганской системы, поднявшейся из глубины тропического моря и исчезавшей в ледяных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт — и в километре от нее столица металлургии: директория железорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в миллион киловатт.

Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и задушевно: горные инженеры имели перед собой первоклассного техника другой области практики, и только.

Известно, что добывание железной руды с трехсотметровой глубины не может экономически оправдываться, здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд.

Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на громы землетрясения, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в электромагните прерывался ток и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим ветром, накаленные трением о встречные породы, и, взлетев на сотню метров, падали на материнскую землю, слегка зарываясь.

Лебедка-самоход поднимала куски руды щипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домам.

Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь несколько мгновений, и потом — электромагниты питались током, добытым из энергии падающей подпертой воды. Поэтому глубокая руда обходилась не дорожке мелко залегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из-под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.

Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий: его семья — жена и две дочери — утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад.



Скорб потом отомстил этой реке: он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. И с тех пор Скорб живет один, если не считать тысячу электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих, сплошных друзей Скорба.

Переночевав у Скорба, Крейцкопф уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. пышное лето плыло в вечном сиянии солнца.

## 6. ПОЛЕТ «ЛУННОЙ БОМБЫ»

Приехав домой, на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться: до начала работ оставалось не менее четырех месяцев. И он нечаянно занялся чтением: купил раз книжку в палатке у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось:

Я — родня траве, и зверю,  
И сгорающей звезде;  
Твоему дыханию верю  
И вечерней высоте...

Дальше шли скучные слова, а потом опять:

Я не мудрый, а влюбленный,  
Не надеюсь, а — молю.  
Я теперь за все прощенный,  
Я не знаю, а люблю.

Очарование смутной мысли, мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа. И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Беркмана, «Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?» — философия Горгонда, — и несколько других.

Крейцкопфа поразила книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухой тоскою. Он увидел совсем новых людей — мрачных, горячих, подвижных, ревущих страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, уходящих в страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути...

Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие с завязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души.

В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомотивов в полях и молотила хлеб. Падая с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких суков, и заготавливались на зиму впрок фрукты и овощи.

Настал новый бюджетный год. Управлению Строительства Лунного Полета отпустили вторую половину сметной стоимости работ.

Крейцкопф, Нимт и пятьсот строителей занялись делом.

Недели за неделями шли в истощающем труде, — труде, где требовалась необычайная точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны.

Кидающий диск был закончен. «Лунная бомба» давно готова. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили. Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации.

Это пошло быстро. Строительное Управление было ликвидировано и заменено Научным Бюро Лунных Изысканий. Во главе его стал известный астрофизик, академик Лесюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором.

Временем отлета Бюро установило 19-20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь на 20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска, и «лунная бомба» улетит по направлению к нашему спутнику, а через восемьдесят один час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коро-Коротанга.

Газеты в погоне за сенсацией писали о полете такие подробности, что и Лесюрен и Нимт сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили: газеты-де вовсе не созданы для новостей и точной информации, они — привычка людей, некое курево утомленного мозга.

\* \* \*

На место отправления «лунной бомбы» съезжался «весь свет». Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг сооружения.

Крейцкопф задумался. Истекало 10 марта: день полета близок. Если прибавить в «бомбу» аппараты для производства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку; ведь и полет будет длиться всего восемьдесят один час.

Крейцкопф написал заявление в Научное Бюро Лунных Изысканий о своем желании лететь к Луне в «бомбе» и подробно изложил пользу от такого дополнения «бомбы» живым человеком.

Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству; то отказало. Крейцкопф написал второе заявление: «Правительством не был куплен у меня патент на изобретение «лунной бомбы», детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу, я не даю согласия на пуск моего изобретения в действие, да без меня практически его и не сумеют как следует пустить в ход: я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения, я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в «бомбе».

По существовавшим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав. Он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в «лунную бомбу».

Известие о полете Крейцкопфа в «лунной бомбе» поразило общество. Но потом решили: эффектный жест самоубийцы. 19 марта в восемь часов вечера Крейцкопф сел в «бомбу». Посадка его и укупорка всего снаряда были исполнены в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В десять часов весь цирк, вплоть до последних амфитеатров, был полон.

Было пышное освещение, музыка, продавали воды, квас и мороженое, дежурили таксомоторы, — обычное окружение редкого события.

За три минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел, пять гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся мотор целые облака холодного воздуха, — и воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения: подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду.

Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада и извержение вулкана: так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась — она горела от трения о воздух.

Нимт холодел от ужаса: малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу: диск работает в окружении сотен тысяч живых зрителей...

Измеритель показывал уже нужное для полета число оборотов: 946 000 в минуту. До отрыва снаряда от диска оставалось полсекунды. Астрономические часы автоматически на двадцати четырех часах замкнул ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат освободит от диска «бомбу», и она полетит за счет живой силы, накопленной ею в бытность на диске.

Нимт закрепил регулятор числа оборотов: необходимая вычисленная скорость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы: сигнал, что «бомба» улетела. Момента отлета никто не заметил. Начальная скорость полета снаряда была непостижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству.

Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через четыре часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов.

Из зрителей оглохло около пятнадцати тысяч человек, еще у десяти тысяч произошли какие-то нервные контузии: никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую страстную стихию, ревущую, как светопреставление.

## 7. ВЕСТИ ИЗ МЕЖПЛАНЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА

На «лунной бомбе» было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны были получаться от Крейцкопфа ежечасные, примерно (Крейцкопф не мог иметь часов), сообщения, и по волне же этого радиоаппарата можно с Земли определять межпланетное положение «бомбы».

Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро Лунных Изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению «бомбы» и осуществлялась вся слежка за ней.

Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе — «В поисках могилы», где обрекались на гибель и «лунная бомба» и Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцкопфа из межпланетного пространства по порядку:

*«1. Нечего сообщать. Приборы показывают угольно-черное небо. Звезды неимоверной силы света. Было слабое трение снаряда обо что-то: приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайно взятую книгу — «Барский двор» Андрея Новикова, интересное сочинение».*

*«2. Мимо «лунной бомбы» прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась».*

*«3. Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган».*

*«4. На мою «бомбу» падает Луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. «Лунная бомба» его обогнала».*

*«5. «Бомба» идет резкими толчками. Странные силы скручивают ее путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир».*

*«6. Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлёниса, — в космическом океане кричат звезды».*

*«7. Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у*

источников земной поэзии: кое-кто догадывался на Земле о звездных симфониях, и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Поднимите возможно больше людей на межпланетных бомбах на небо, — здесь страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона».

«8. Полет спокоен, тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю».

«9. Я обнаружил кругом электромагнитный океан».

«10. Нет никакой надежды на возвращение на Землю, лечу в синей заре. Приборы фиксируют напряжение среды в восемьсот тысяч вольт».

«11. Луна надвигается. Напряжение два миллиона вольт. Мрак».

«12. Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат: вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы».

«13. Тучи метеоров. По блеску — это металл, по электромагнитным влияниям — тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари, горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего».

«14. Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием. Я не владею больше своими мозгами, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу, — я думаю постоянно о незнакомом мне, я вспоминаю события, разрывы туч, лопающееся солнце, — все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне постоянно хочется пить и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело».

«15. Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве... (Сигналы не поняты. — Примечание академика Лесюрена.) Все ясно: Луна в ста километрах. Влияние ее на мозг ужасающее, — я думаю не сам, а индуктируемый Луной. Предыдущего не считайте здоровым. Я лежу бледным телом: Луна непрерывно питает меня накаленным добела интеллектом. Мне кажется, мыслит и снаряд, и радио бормочет внятно само собой».

«16. Луна проходит мимо в сорока километрах: пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более пятидесяти километров в час по глазомеру».

«17. Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ... Я уже овладел собой и привык».

«18. Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем: стихия это или разум живого существа?.. Разум, наверное; Луна — сплошной и чудовищный мозг».

«19. Не могу добиться причин газовых извержений: я, кажется, открою люк своей бомбы и выпрыгну, мне будет легче. Я слепну во тьме снаряда, мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов».

«20. Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова, слышите ли вы меня?.. (С момента отлета Крейцкопфа прошло девятнадцать часов. — Примечание акад. Лесюрена.)»

«21. Луна подо мной. Моя «бомба» снижается. Скважины Луны излучают газ. Я не слышу больше звездного хода».

*«22. Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием. Видите или нет вы катастрофу на Млечном Пути: там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление...»*

*«23. «Бомба» снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе. Прощайте».*

## ТОВАРИЩ ПРОЛЕТАРИАТА

«Сейчас ночь в СССР и в Европе. Капитализм спит и не знает, что он уже побежден насмерть. Всемирный рвач, летун по нашей планете, прогульщик своего срока, прорывщик всеобщего блага, капитализм уже не видит снов будущего счастья, потому что будущее до самого горизонта времен занято пролетариатом. А я — товарищ и подручный пролетариата».

Инженер Всуев сделал это сообщение в 3 часа зимней ночи, в эпоху реконструкции, обращаясь к самому себе.

Всуев жил в Советском Союзе два года; истинная фамилия его была Всюэ, происхождения он не помнил и в анкете — на вопрос о классовом роде — отвечал: безвестный, а об имущественном состоянии сообщал, что он средний бедняк. Все это было верно, потому что родителей он никогда не чувствовал и долгий срок работал в Австралии караульщиком цветочных пчелиных пастбищ от саранчи. Всуев и теперь еще, ночуя в СССР, видел иногда в сновидениях безлюдье среднеавстралийской пустыни, томительный оазис пчеловодства и тоску жизни, продолжающейся без надежды. Он просыпался в страдании и вскоре ругался в одиночестве, не в силах терпеть такое положение.

В СССР тов. Всуев приехал по нужде. В Австралии он встретил однажды советского человека, пасшего кроликов. Тот человек ему рассказал про СССР все, что знал, и сам заплакал от воспоминаний.

— Там что такое? — спросил его Всуев. — Отчего ты плачешь по родине, а сам уехал из нее...

— Да я там бандитом был, — сказал плачущий, — а здесь целиком осознался. Сижу теперь и горюю.

— А там полезное что-нибудь? — интересовался Всуев. — Там есть работа инженеру-оптику?

— Там любой дурак счастлив теперь. Там ударный инженер самую прелестную комсомолку может свободно полюбить...

— А она? — спросил Всуев.

— А она — как захочет, — объяснил бандит. — Там теперь всемирное счастье скапливается в один бугор, а я здесь одиночных кроликов стерегу, низкую сволочь такую!..

Вслед тому бандит привлек одного толстого кролика, питавшегося вблизи, и вручную задушил его как представителя местной буржуазии.

— Спи теперь вечно, гнусная личность, — сказал кролику бандит.

Он поглядел затем на окрестную Австралию, и слезы сразу высохли на его глазах от жары. Вдалеке, по пустынному миру ехал какой-то мелкий буржуй в таратайке. Беглый человек схватил с земли сухую ветвь и яростно побежал за тем буржуем, а на родине своей он убивал пролетарских активистов и желал кулачеству блага.

Всуев взял расчет у пчеловода и поехал в Мельбурн. В Мельбурне он узнал, сколько стоит проезд на товаро-пассажирском пароходе до Дальнего Востока. Денег у него хватало только на билет, а на дорожную пищу уже ничего не оставалось. Тогда он решил ехать в СССР натошак и поесть впоследствии во Владивостоке. Однако старый мир наполнен пролетариатом, и Всуева кормил всю дорогу кочегар 2-го разряда из своей суточной порции.

Достигнув берега СССР, Всуев не обрадовался. Он желал здесь найти только работу и постоянную пищу, но вовсе не счастье. Темная вода обмывала берег, на котором строился социализм, ветер сгибал приморскую поросль, и было кругом бесприютно и скучно, как всюду на земном капиталистическом шаре.

Всуев пошел к советскому агенту иностранных дел и сказал там, что он по образованию инженер-оптик, а по состоянию — нищий человек, нельзя ли ему потрудиться в здешней стране, поскольку он будет стараться.

Советский агент прочитал бумаги инженера Всуева, посмотрел ему в лицо и безмолвно что-то подумал. Всуев был худ снаружи и стоял печально, уже изнемогший от тридцати двух лет непрерывной жизни. На всем свете никто о нем сейчас не думал и не заботился, кроме этого советского служащего.

— Мы согласны, — сказал агент. — Если вы потрудитесь стать на сторону пролетариата, если вы забудете огни буржуазии...

— Они для меня никогда не светили, — ответил Всуев.

— Тем лучше, — продолжал служащий. — Тогда вы зажжете свет у нас — для себя и своих новых товарищей.

— Свет я зажечь могу — я же оптик, а оптика — это светотехника, — объяснил австралийский инженер.

— Хорошо, — сообщил агент и наложил резолюцию доверяющей рукой.

Отъехав от океана на несколько тысяч километров, Всуев начал работать на заводе особого назначения имени «1/6 суши». Общественным организациям завода понравился усердный, угрюмый инженер из далекой, тем более колониальной страны — заведомо угнетенный человек, — и организации дали Всуеву различную нагрузку; в первую очередь ему поручили просмотр и оценку рабочих предложений.

Товарищ Всуев принял всю новую советскую жизнь сразу всерьез и никогда не засмеялся над отсталостью или неумелостью трудящихся масс. Он знал место, откуда эта отсталость произошла, и знал виноватых. Большому числу рабочих изобретений Всуев не удивился. Он не имел той руководительской радости, что неимущие и темные тоже умеют думать, какую имели образованные сторонники пролетариата, — они сами не были пролетариатом и не обладали правильным понятием о нем. То, что они, интеллигенты, чувствовали восторг от сообразительности пролетариата, служило Всуеву доказательством, что втайне, неволью они не верили в ум, в жизненное движение масс. Они, вероятно, предполагали, что лишь они свободно размышляют, а бедняки существуют смутно и механически, по одному указанию сознательных.

В течение ночей Всуев превращал краткие рисунки рабочих изобретений в полные чертежи, и те чертежи шли в немедленное осуществление. Партийные рабочие, которые заведовали заводом, одобряли Всуева и считали его товарищем пролетариата.

На торжествах изобретений Всуева ставили в ряд с умнейшими рабочими, введившими новые правила производства и ударные высшие машины; Всуев стоял тогда на высоте трибуны и смотрел перед собою в этот радующийся мир, который был настолько несчастен, что приветствовал и возносил инженера за одно исполнение им своих обязанностей.

В половине двенадцатого одной ночи в комнату Всуева пришел пожилой человек и принес в руке старую, любимую книгу, всю пропахшую телом ее читателя. Человек сообщил Всуеву, что его профессия — шлифовщик двояковыпуклых чечевиц, фамилия — Климентов, возраст — почти старчество.

Всуев выслушал гостя и осмотрел его книгу. Это было учение Максвелла о солнечном свете, который есть на самом деле лишь электричество. Четыре года мучился шлифовщик над сочинением, пока не понял его целиком, а поняв — усомнился: может быть, считать солнечный свет простым электричеством есть явное упрощенство диалектической сложности природы!

Теперь Климентов объявил Всуеву, что капитализм можно немедленно и научно обогнать, он сказал:

— Ты моего лица не замечал, товарищ Всуев. Я всегда стоял в гуще и проверял твое настроение, а теперь вполне приветствую тебя, как пролетарского соучастника... Что такое солнечный свет? Это электромагнитные волны, только они, сволочи, дюже часты в секунде и коротки в длине, — вот вопрос-то!

Два часа слушал Всуев неправильную, самоспорящую речь прибывшего человека. Гость стоял все время на ногах и отвергал технические идеи, способные лишь догнать капитализм, но не обогнать его. Например, идею академика Иоффе<sup>4</sup> об отоплении тундры, о превращении льдов Северного океана в теплую воду — шлифовщик не очень одобрял. Он уже успел прочесть, что где-то в Тихом океане есть силовые двигатели, действующие разницей температуры воды и воздуха; поэтому перенесение той же идеи к нам, хотя бы для отопления советских ледовитых местностей, его явно не прельщало. Он хотел именно обгона капитала посредством создания такой технической идеи, которая бы решила задачу энергетики земного шара чисто социалистически — изящно, вечно и почти как бы невесомо. Материалист Климентов уважал в машине не чугун, а мысль, изложенную конструкцией. Он глубоко предчувствовал строгую нежность природы и ненавидел чугунно-паровую технику буржуазии, как ложь перед миром.

— Вот вопрос-то! — ежеминутно удивлялся Климентов и тут же делал теоретическое усилие, чтобы положить стоячий вопрос вниз.

— Жутко быть сейчас капитализмом! — наслушавшись шлифовщика, сказал Всуев; он не видел в Австралии размышления со стороны пастухов или прочей наемной силы о солнечном свете.

— Еще бы не жутко! — подтвердил Климентов. — Ему не только жутко, ему странно сейчас: вот вопрос-то!.. Городской переменный ток имеет длину волны километра два или четыре, частоту волн — пятьдесят штук в секунду, а солнечный свет бьет, стервец, миллиарды раз в ту же секунду, и его волна по длине почти ничто! Ну и пускай! Но ведь принцип-то один и тот же! Стало быть, нужно сделать волну солнечного света подлиннее, а ее колебания пустить на редкий счет вместо частого — и тогда мы получим электричество — и нет вопроса!

— Земля — это электромотор, а солнце — его единственная динамо! — высказался Всуев.

— Свет солнца нужно немедленно превратить в электричество, — сообщил шлифовщик. — Коммунизм должен вертеться силой, добытой впрямую из солнца — без антрацита, без дров, без водопадов, без температуры, без химии — безо всякого терпения...

— Я понимаю, — сказал Всуев.

Тот же Климентов дал Всуеву рисунок простого прибора, который, кроме стекла и нескольких металлических деталей, ничего не должен иметь. В одну сторону прибор принимал дневной свет, пропускал его через стеклянные сферы, мимо склоненных плоскостей, преломлял в сложных фигурах, по другую сторону прибора свет выходил уже в форме рабочего тока.

Шлифовщик определил будущую технику и философию как время, когда оптимизм будет внутри человека, а оптификация — снаружи его. Оптику, науку о свете и тьме, он считал самым прекрасным вопросом.

Везде, где есть солнце, луна, звезды, северное сияние, наконец, — рассеянный сумрак ночи, — везде можно мгновенно, непрерывно и даром иметь электрическую мощность.

Получив рисунок изобретателя, Всуев несколько месяцев продумывал вопрос, пока не пришел к выходу из него. Теперь инженер был уже способен доказать, что использование энергии солнца — через прямое обращение световых колебаний в электрический переменный ток промышленной формы, — лучше всего возможно оптическим прибором. Шлифовщик был прав, говоря однажды на высоте энтузиазма, что подобно зеркалу, производящему из лица одинокого человека призрак второго друга, — оптическая наука откроет на Земле солнечный родник, взойдет заря вечной энергии, и в математической поверхности оптической машины изобразится целое человечество, как второй товарищ каждому склоненному лицу.

Зимою инженер Всуев закончил всю проектную работу и передал ее на просмотр и подпись тов. Климентову. Шлифовщик проверил, сделал поправки и отослал на высшую консультацию, а Всуеву прислал ночную записку, исполненную обычным торжествующим стилем: «Привет бывшему колониальному рабу, служащему нынче помощником, товарищем машиниста на паровозе истории, обгоняющем финансовый империализм! Да здравствует солнечная централь, образующая коммунизм на нашей нижней земле! Смерть вопросам!»

Инженер Всуев, прочтя, не улыбнулся: он знал место, где производится такое скучное горе, что для забвения его нужна радость, безумная, как глупость. Он и сам испытывал сейчас счастье и написал те слова, которые написаны в начале рассказа, обращенные к самому себе.

Пробыв еще полгода на заводе «1/6 суши», австралийский инженер изобрел способ просвечивания атмосферных туманностей для непрерывных астрономических наблюдений и был принят в партию, перестав быть подручным пролетариата.

Бандит, пасший кроликов в Австралии, проник тайно в СССР и работал кирпичным кладчиком на капитальном строительстве того же завода, где был Всуев. Бандита вскоре открыли и увели на следствие в тюрьму, а потом судили в клубе, где присутствовал и Всуев. Инженер вспомнил знакомое лицо и вышел свидетелем. Он сказал, что данный человек плакал в Австралии от горя по СССР.

Суд задумался и отпустил бандита работать на воле.

<1929>

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК

*(Сказка-быль)*

Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впились ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и преодолевал терпением свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался; когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и



сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверх. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

«Может, это цветок скучает там по своей матери, как я», — подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

— Отчего ты такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно, — ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина! — сказала она. — Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

1950

## БРОНЯ

### *Фантастический рассказ*

Саввин был пожилым моряком, он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу.

Он был моряк старый, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину — в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине живота, но говорил он редко, любя больше слов безмолвие, наблюдение и размышление. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков, и я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему: «Еще один добряк и пьяница», — подумал я про него.

Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Саввин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и моря: «В море грустно, там тоска, — говорил он, — море само по себе не красивое, оно простое и серьезное: это водоем, где водится рыба для нашего пропитания, а поверху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево, а счастья на море нет, на сухой земле лучше — тут хлеб, тут цветы, тут люди живут»...

— А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич? — спросил я у него.

Саввин помолчал. Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Пред нами, на той стороне балки, вжились в землю мирные деревянные жилища, и от них зачинались кроткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей.

— Я с детства люблю нашу русскую землю, — сказал Саввин, он умолк и вдруг тихо заплакал, потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: — Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел

захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли, от страха, может быть — от предчувствия, у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался... Потом я вырос, как все растет, меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским инженером; я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной...

— Одних кораблей мало, — сказал я моряку. — Нужны еще танки, авиация, артиллерия...

— Мало, — согласился Саввин. — Но все произошло от кораблей: танк — это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно — нам нужна броня, такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки, мы обрядим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности, почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению... Броня — ведь это мускулы и кости войны!

Саввин воодушевился, что с ним бывало очень редко, вероятно потому, что свое воодушевление он тратил в тайну своего размышления и работы, и на виду оно не проявлялось.

Я пошел проводить Саввина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика, ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Саввин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая.

— Сердце у меня слабеет, — произнес он затем, — но жизнь от этой слабости я чувствую как-то лучше...

— Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко, — сказал я спутнику в утешение.

— Одолеем! — странно и злобно воскликнул Саввин. — Надо еще уметь, чтоб одолеть, надо сделать победу из работы и боя!

И он добавил своим обычным, хриплым и кротким, голосом:

— Небольшую долю нашей победы я сделал.

Я удивился и не поверил.

— Где же она, ваша победа?

Саввин ответил:

— Она спит в одной избушке в Курской области, там я схоронил в бумаге десять лет работы.

— Что же это такое?

— Да как вам сказать? Это новая физиология металла, — сказал Саввин. — Но чтобы вам понятно было — это способ производства броневое сверхпрочного металла, чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага.

— А в Курской области теперь немцы!

— Пускай, — произнес Саввин. — Немцы там, но земля как была, так и будет русской...

Подживет нога, пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно. Надо строить новый металл: твердый и вязкий, упругий и жесткий, чуткий и вечный, возрождающий сам себя против усилия его разрушить... Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал: это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя.

— Я пойду, — сказал я Саввину.

— Спасибо, — ответил Саввин. — В той избе живет мой дядя, мы там погостим.

— А немцы не спалили избу? Где мы там гостить тогда будем?

— Дядя спрятал мои бумаги в подполье, под основание печки, — сказал Саввин. — Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор,

который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях...

Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов в поля, на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела: неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля; он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспamięтно в прах: земля наша хороша и для хлеба и для могилы. И было в бойцах сейчас только твердое, ненавидящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем, остающуюся здесь в сиротстве без сильных рабочих рук; но и сердце есть оружие, и его бывает достаточно для победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда его движет ненависть.

Мы с моряком Саввиным оставили свое временное местожительство и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я командировку. Мы доехали до Рязьска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.

— А как же мы пройдем через фронт: на бога? — спросил я у Саввина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов.

Саввина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю.

— Почему — на бога? — сказал он. — По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские, — так сквозь и пройдем. Чего нам у себя дома пугаться: где схитрим, где спрячемся, а где осилим, там и с врагом побьемся, а там и наша деревня близко будет.

К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Саввин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия, — у него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его, потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу на своих самых опытных разведчиков, а Саввина и его спутника, то есть меня, он просил обождать на месте до возвращения разведчиков. Саввин, конечно, отказался: для успеха дела разумнее было идти ему самому.

В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. Нас проводили двое красноармейцев, затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы.

Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую, дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывающему нас на покой.

Вечером мы обошли попутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы, притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин; он шел в сторону Москвы, может быть, желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом, может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел вослед исчезнувшему и заскучал по той стороне, куда побрел одинокий крестьянин.

Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Саввин, огородным луком и капустными листьями. Саввин ел огородных овощей как можно больше, и я ему тоже помогал в этой работе над едой; мы полагали, что будет лучше, если немцу достанется меньше овощей, так что наше обжорство имело благородную причину.

— Из любви к родине — рубай! — приказывал мне Саввин.

Огороды были не возделаны, по ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом, либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было хозяина в живых.

На очередной ночлег мы расположились в кустарнике, недалеко от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Саввин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь.

Издали по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны, и, видно, им далеко было еще идти и они не спешили.

Впереди шел немецкий солдат с автоматом; серая пыль, прах нашей земли, покрыла одежду чужестранца. За ним брели молодые крестьянки, одна из них была девочка лет пятнадцати; всего я их сосчитал четырнадцать человек; позади их шагала, торопя пленниц вперед, другой немецкий солдат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, в сияющие солнцем родные места, нагибались, чтобы поправить обувь, перевьючивали друг на друга котомки с хлебом, а одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку, но на нее строго залопотал задний немец.

Они шли с котомками за спиной, с палками в руках, покрыв головы темными платками, они шли в дальнее безвозвратное странствие. Молодые и юные, еще кроткие сердцем, они брели согнувшись, как в старчестве, потому что их уводили на вечную разлуку и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие, умолкшие старухи.

Я разбудил Саввина.

— Погляди, — сказал я ему.

Он посмотрел на шествие.

— Их в рабство гонят, — произнес он. — Их ведут в глушь Германии...

Мы притаились и наблюдали. Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтоб она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос, в нем не было слов, но было долгое, вечное горе, от которого обмирало ее сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее поющая душа. Мы забылись и заслушались эту песню пленницы, гонимой на смертную работу.

Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой, ко двору. Теперь мы снова увидели, что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб.

Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда фашист прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал, но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще, однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат побежал за ней несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено. Но он уже не управился добить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако новые три пули Саввина поразили его раньше, чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но большая пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги.

Саввин все еще держал свой револьвер, положив его дуло меж двух ветвей, росших рогаткой; он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленные женщины сразу исчезли с дороги; они стремились через поле в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе.

Мы ушли кустарником своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне оврага.

Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилья.

— Что это там? — сказал я Саввину. — Должно быть, деревня горит...

— А что там! — грустно произнес Саввин. — Там обыкновенно что: враги народ наш казнят. Пойдем туда! Обожди...

Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди; он хотел, чтоб я и один мог найти ту избушку, где хранится тайна вечной, несокрушимой брони; он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе.

Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы; пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленатой в одеяло. Мы остановили ее.

— Ты куда? — спросил у нее Саввин.

— Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду, — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам; на вид эта женщина была уже старухой, а может быть, она состарилась до времени.

— Кто там, в этой деревне? — указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла.

Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному, сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от нежности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

— Сейчас, сейчас, — сказала она ему, — сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди,  
Померли все люди.  
Нарожались черви,  
Стали черви люди.  
Черви все подошли,  
И осталась глина.  
А на глине корка,  
А на корке травка,  
В травке той росистой  
Сердце наше дышит,  
Сердце наше плачет  
Об умерших детях.  
Все прошло-пропало.  
Одно сердце стало  
Жить на свете вечно,  
Умереть не может,  
Потому что плачет,  
Плачет-ожидает,  
Мертвых вспоминает.  
Мертвые вернуться,

Спящие проснутся,  
И тогда что было --  
Сердце позабудет  
И любить вас будет  
В неразлучной жизни...

Потом женщина накрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню. Мы тронулись за ней; она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

— Ты что? — спросил ее Саввин.

— А я хмельная, — весело сказала женщина.

— А кто же тебя водкой здесь поит, немцы, что ль? — удивился Саввин.

— Они, а кто же! — ответила женщина. — Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили...

— Кто их поморил? — спокойно спросил Саввин.

— Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют — деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают.

Саввин взял женщину за руку.

— Где сейчас немцы? Только не ври! Много выпила-то?

— Чуть-чуть, — произнесла крестьянка. — Обещали еще потом угостить, и закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе, вон на том краю. Там помещение каменное, там и ясли были с детьми, а теперь детей поморили и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится, вот я и ношу ребят на покой... Сама плачу над ними, сама отпеваю их, — кто ж будет горевать-то по ним? — одна я женщина и осталась на деревне, всем я теперь мать, да еще две старухи помирают лежат, а четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже: вчерашний-то день наших шестеро было в живых, двоих они убили...

Крестьянка ушла от нас, стало сумрачно и темно, пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню, к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть, — и не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть вполсердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке? И я подумал: как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и не подчиненного томительной привязанности к жизни! И жизнь — где она одухотвореннее и сластнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения?..

Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей в овраг и вот уже снова возвращалась обратно. Саввин поднялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился вослед женщине.

— Обожди меня тут, — сказал он мне тихо. — Я скоро буду.

— А броня? — спросил я. — Тебя убить могут, надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь.

— Найдешь, — часто дыша, ответил Саввин. — И меня убить не могут, потому что я сам убью их!..

Я остался один. Всюду была темная ночь, в деревне была тишина. Я ожидал Саввина, радуясь, что у него оказалось то человеческое, внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.

В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком, и побежал во тьму, куда ушел Саввин. Долгое время я искал школу, это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети, а ныне были немцы. Я блуждал в огородах, в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара; затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела, я оставил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей в овраг.

Она повела меня, и я пошел.

— Не бойся, их теперь нету, — сказала она.

— Чего ты плачешь? — спросил я у женщины.

— Он их всех побил... он их клинком заколол, сперва одного, на часах, потом прочих, кои уж на отдых легли в помещении, — говорила женщина. — Он их сразу, он им и вспомнить про себя не дал, семь душ — все лежат...

— А чего ты плачешь?

— А он и сам тоже лежит помирает... Один-то враг не враз помер и в него поспел стрелнуть — и попал ему в грудь насквозь... Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.

У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы тут его не было. Внутри помещения горел фонарь «летучая мышь» и смутно освещал чужих покойников; двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки; прочие кровати были пусты, и четверо мертвецов валялись на полу — они, должно быть, пытались одолеть Саввина; один немец лежал в черной шинели, а остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему.

Саввин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку.

— Тебе плохо? — спросил я у него.

— Почему плохо? — нормально, — трудно дыша, сказал Саввин. — Я умираю полезно.

— Тебе больно?

— Нет. Больно живым, а я кончаюсь, — прошептал Саввин.

— Как же ты их всех один осилил? — спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки.

Саввину стало тяжело, но он произнес мне в ответ:

— Не в силе дело, — в решимости и в любви, твердой, как зло...

Он начал забываться; потом прошептал свое имя, может быть вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть.

Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несокрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека.

## ГЛИНЯНЫЙ ДОМ В УЕЗДНОМ САДУ (Нужная родина)



В уездном саду была деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты крыжовника и черной смородины, и выше всех был клен, большое и грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов и садов. Сад был огорожен плетнем со всех сторон, лишь в одном месте была деревянная калитка, навешенная на толстый кол; эта калитка выводила на пустой двор, а на дворе находился бедный дом из кухни и комнаты, где жил кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густой травой точно хранили этот неизвестный глино-соломенный дом, где была или не была чья-то убогая, слабая жизнь.

Посредине глиняной стены того дома находилось окно, маленькое, как дремлющее зрение, — окно выходило прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдие долгого медленного времени.

Другие стены глиняного дома и дверь из него были за плетнем, на той стороне, и там тоже была трава, несколько умолкших, дремучих кустов и запустение забытого огорода. Не видно было жителей, которые входили бы в это жилище, хлопали дверью, жили и зажигали свет в окне в осенние вечера.

Деревянная кузница стояла на другом краю сада. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Еркин. Ему было теперь почти пятьдесят лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя. Когда-то он работал лесным сторожем и проклинал лес. Уходя навсегда из казенной избушки, он обернулся к дубовой чаше и сказал ей:

— Проклинаю тебя на веки веков, грудь моя забудет все твои деревья, грибы и тропинки. Голова моя не увидит тебя и во сне никогда!

Он перекрестил шумящую дубраву крестом прощания и презрения и пошел от нее в пустошь, опять неимущий и свободный. В одной слободе Яков Саввич устроился для прокормления на краскотерочную фабрику, где работали четыре девки, два мальчика и один он. Потерев краску недели три, Яков Саввич плюнул в терочную машинку и произнес:

— Будь ты трижды проклята — трись сама, — а потом ушел в дверь, по своему обычаю, и больше не вернулся.

На улице он внимательно осмотрел краскотерочное помещение, чувствуя душевное счастье, что больше его никогда не увидит и поэтому можно даже печально полюбить его на память.

Затем Яков Саввич рыл траншеи для водопроводных труб в губернском городе, пока ему вскоре же, дня через три, не стало ясно, что для такой работы совсем не нужно быть человеком, мечта в его голове и настроение в сердце оставались без применения, работали только лишь одни скучные руки, и ноги держали тело в упор, как истуканы. Яков Саввич сразу расправился с этой своей новой судьбой, — он получил сдельный расчет и отдал лопату подрядчику, а земле сказал: «Лежи — дожидайся, как буду мертвым, так явлюсь к тебе!»

Потом Еркин, ввиду холодной зимы, поступил бассейщиком. Он стал жить в водоразборной будке с печкой и отпускал теперь водовозам и базарным мужикам воду за мелкие деньги. Это было нетрудно, лишь бы питаться, а жизнь как-нибудь проживется. Но в бассейнной будке окно было четверть аршина в квадрате, — никого не видно, всегда скучно и только суют гроши и алтыны в казенную щель под рамой замороженного окошка. Это мало радости, и поэтому Яков Саввич вышел однажды в зимний вечер наружу и засмотрелся на длинную очередь пустых деревенских саней. Базарный день окончился, деревенские люди уезжали домой — в натопленные избы, спрятанные среди снегов за десять — двадцать верст отсюда, в речных долинах, в заглохших балках и пустошах; они приедут туда поздно, поедят ужин с овинным хлебом и лягут спать, слушая первых петухов. Долгая синеющая улица города выходила в поле, в первые сумерки русской ночи. Небо еще с осени покрылось темной теплой наволочью и осталось таким неподвижно, больше не было ни звезд, ни молний. Брехали собаки у сеней

мелких домовладельцев и звонил колокол церкви в память праздника какого-то небольшого святого, жители шли в баню или возвращались оттуда, застывшие дети бедняков проводили детство у своих дворов, играя тем, что упало с неба или с проезжих возов.

Последние сани безмянного старика скрылись с тоскою в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала томиться в душе Якова Саввича. Он сосчитал дневную выручку за продажу воды, которую должен отнести в городскую кассу. Ее оказалось всего шесть рублей, сорок две с половиной копейки.

— Э, да будь ты все проклято! — сказал Яков Саввич. — Пойду жить по своей мысли.

Он взял пиджак в будке, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками.

Верстах в сорока от города, в деревне Таволжанке, Якову Саввичу понравилась одна милая молодая женщина, вдовица пропавшего шахтера. Он поселился в избе ее родителей, а потом постепенно женился на ней, приучив ее к себе до того, что она полюбила его. В этом ничего особого не было: ведь женщине некуда деваться, кругом равнодушное поле, в избе скудость и неуправка, у каждого своя забота, и человек ходит, молчит, — поэтому многие не выдерживают, их сердце располагается к кому-нибудь, и двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от всех чужих. С таким же чувством предалась Якову Саввичу шахтерская вдовица, ища своего убежища в его доброте.

Яков же Саввич, наоборот, боялся всякого убежища, точно сухой могилы. Тогда он сказал ей:

— Ну, поплачь теперь, слабая, года два обо мне, а я пойду, откуда пришел...

Дальше Яков Саввич пошел работать по уезду на богатых мужиков, служил обтирщиком вагонов на товарной станции, резакон в мясной лавке — и всюду, сгибаясь в труде, ел плохо, а на одежду не хватало ничего, хотя пользы от работы приносилось много. Догадавшись про убыточность полезного труда, Яков Саввич занялся сбором подаяния в кружку на построение храма Николая-чудотворца, а все кружечные деньги оставлял себе на пищу и в запас на худшее время и стал жить спокойно и хорошо. Он ходил среди природы по губернии, беседовал и размышлял с разными жителями и замечал, что его ненужное дело было гораздо более доходным, чем полезное занятие трудом. Мало того, люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя сами знали, что это безвозвратный расход и Бог им едва ли поможет. А когда Яков Саввич продавал воду в бассейной будке и приходили разные жаждущие с ведрами, то они уносили воду со скукой, хотя в воде была насущная необходимость, а церковная кружка — это пустая жестянка.

Накопив сто рублей, Яков Саввич пошел в уездный город и купил себе ларь с товаром для торговли игрушками, ложным золотом и украшениями женского лица. Он уже знал теперь, что ненужные вещи ценятся дороже и покупаются охотнее, чем необходимые. Торговля, стало быть, будет безубыточной. Однако торговать ему пришлось всего месяц времени, потому что его арестовали и присудили сидеть в тюрьме три года семь месяцев — за хищение медных церковных денег. В тюрьме Яков Саввич узнал еще много мер борьбы с безуспешной жизнью и, выйдя оттуда, поступил к двум купцам делать самые точные весы. Эти два купца, торговавшие алебастром, известью и дранью, были компаньонами в деле, но заспорили однажды среди лета — чья жена лучше и тяжелее. Своим весам они не верили, а у чужих весов хозяева были жулики. Здесь им назвался Яков Саввич, что он сделает весы, которые будут вешать, чья жена лучше, легче и тяжелее. Купцы вначале хотели разойтись без последствий и без убытков от такого дела: ну, пускай у одного жена будет толще, а у другого зато лучше на вид — так на так выйдет, без особых весов. Но один купец стал думать по-другому.

— Опять Евсей поехал без вожжей! — сказал он в раздражении. — Товар сорт любит, а не одну тяжесть. Пускай человек делает, раз называется: на баб не годятся, на известку пойдут...

— Твою бабу свесить не задача, — сказал другой купец, — ни спереди, ни сзади нет добра. А на мою царь-пуд еще надо лить.

— У моей кость тверже, она — баба — захватистой твоей.

— Опять тебе вот — захватистой! Купи себе клещи в железном ряду и живи с ними.

— Свесим — и дело с концом! — предложил Яков Саввич. — Ни туда, ни сюда выйдет, а по совести. Из-за женщин можно до смерти дойти: лучше весы сделать, все равно для известки нужны будут.

— После моей бабы, пожалуй, весы пополам треснут! — сказал купец, у которого жена, наверно, была толще.

— А ну, нехай пополам! — обиделся второй купец. — Что тяжельше — старое сало или молодая кость: нехай моя баба давнет, поглядим, как твоя кверху подскочит!..

Тот купец вынул пять рублей одной монетой и бросил на землю:

— А ну, пускай глянem, как моя баба-пирог кверху от твоей пышки полетит!

Второй купец тоже не пожалел денег, ради сердечной ревности за свою супругу, и вынул ассигнацию.

— Врешь, другой человек, красоту лопухом не одолеешь.

— Да моя твою одним глазом сшибет!

— А ты что, с перины на пол падал?

Но торговое дело любит, чтобы в нем было хорошее сердце, а не злоба, поэтому купцы, жалея свой мир между собою, заказали Якову Саввичу весы, чувствующие женщин.

Яков Саввич снял себе по летнему времени квартиру у товарного кондуктора — в сарае, в уездном саду. Он взял в лавках инструмент и стал ковать ненужное дело, желая на нем наживаться. Весы ему пришлось делать и переделывать целый год, потому что он никак не мог угодить купцам — все время не хватало точности для тяжести их жен. Затем Яков Саввич перестал спешить с работой, переполучив постепенно с купцов почти двести рублей, пока купцы, поругавшись навечно и по женам, и по другим серьезным делам, не разошлись навсегда, обеднев от злости.

Яков Саввич к тому времени завел уже себе в сарае зимнюю печку, обмeблировался, купил добавочный инструмент, заквасил капусту в кадке, но никакой обыкновенной кузнечной работы не брал и ничего не думал, а ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть, самое доходное, но всю наступившую зиму не было подходящих заказов, поэтому Яков Саввич начал по своему почину делать железные жалейки и питьевые кружки с откидным дном, что мешало их употреблять, но становилось как-то интересно черпать ими воду. Свои изделия Яков Саввич продавал на базаре, где встретил однажды одного из двух обедневших купцов, желавших в свое время сделать весы для определения своих жен. Этот купец стал напрашиваться в подручные к Якову Саввичу, но тот велел ему сначала найти заказчика на работу. Вскоре купец пришел к Якову Саввичу и указал ему сходить к попу в кафедральный собор, там есть заказ. Действительно, попы собирались сделать подношение архиерею, которому исполнялось через полгода сто лет, но нужно было что-то выдумать прелестное и простое. Яков Саввич тут же выдумал часы вечного хода, идущие без завода и остановки вплоть до конца света и второго пришествия.

Попу понравилась такая мечта, однако он высказал сомнение: не лучше ль будет, чтобы часы не шли, а стояли, потому что нижняя, земная жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный Божий срок.

— Тоже можно! — сразу согласился Яков Саввич и взял в задаток сто двадцать рублей, уговорившись сделать всю работу за полтысячи.

Пока Яков Саввич понемногу трудился, у хозяина двора — кондуктора — постоянно рождались дети, и он обращался в нищего, тоскующего человека. Яков Саввич часто кормил его детей моченками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты. Потом Яков Саввич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усадьбу за двести рублей, а кондуктор с

семейством остался жить, как жил — в кухне и комнате, но только квартирантом — за пять рублей в месяц.

С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора — с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, — и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали, — ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Саввич соглашался нынче и на малое добро, чувствуя от него достаточное утешение. Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду; волнуясь когда-то от ветра на бродяжких дорогах, он прислушивался теперь к шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду.

Жизнь проходила перед ним своею мирной долготою; дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов, деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев сухими от старчества — наверно, он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов.

В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Саввич спал и видел сновидения старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян и голос давно погибшей, грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья — видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу.

Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо: в одну ночь он расслышал, что скрипит плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Саввича чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие. Кто-то шел по мяготи трав и почвы небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая. Яков Саввич стал бояться и ждать. Он расслышал, как неизвестное существо удалилось куда-то от кузницы и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, — что было в глиняной стене маленького дома, выходявшего этой стороною в сад. Яков Саввич сам не знал, кто жил в том жилище, он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит, никто в сад не вылезал, и этого достаточно. После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа.

«Может, это ангел ходит ночью! — подумал Яков Саввич. — Сколько сейчас времени? — Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. — Ангелу ходить пора! — решил он в уме. — Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота!.. Чего я здесь живу — умираю: странность одна!»

Он прислушался далее. Ангел по-прежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа.

«Застынет! — подумал Яков Саввич и встал с места. — Зори теперь холодные».

Он вышел наружу и позвал: «Эй, чертенок, иди сюда!» — однако звука из его рта не раздалось, — от стеснения или от страха он говорил только в уме.

«Вот тебе раз! — подумал Яков Саввич. — Все вера в Бога, будь она проклята!.. По ягодным кустам, наверно, лез, сукин сын, изуродовал теперь растения».

Окно из глиняного дома отворилось целиком, вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то, не похожее на человека, лицо.

— Я все давно слышу! Чего тебе надо? — сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу.

— А ты мама или нет? — спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи.

— Я тебе чужая, — ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены.

Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами.

— Ты чей? — спросил его Яков Саввич.

— Я ничей, я отца-мать хожу ищю, — сказал мальчик лет четырех или пяти на вид.

— А я думал ты — ангел, стервец!

— Нет, я никто, — отказался мальчик.

— Жулик, что ль?

— Нет... Меня тетка загрызла, я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается, — ступай, говорит, вон отсюда, ищи свою родную мать и отца, пускай они тебя кормят и водою поят. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает.

— Кого? — спросил Яков Саввич.

— Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукою бьет.

— Вон что, — произнес среди своего молчания кузнец. — Жалко, что ты не ангел.

— Ничего, — сказал этот мальчик.

— А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?

— Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать, — ответил небольшой человек. — Может, есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли и забыли.

— Ты маленький, а ведь умный! — удивился Яков Саввич.

— Я нечаянно стал, один живу, хожу и думаю.

— Давно ты родителей ищешь?

— Давно... Забыл уж, где тетка живет. Пускай бы костью била и хлеб из остатка давала, а то я не евши.

Яков Саввич зажег свет в кузнице и поднял на руки прибывшего ребенка, чтобы рассмотреть его лицо. Мальчик был одет в штаны на одной пуговице и в рубашку, а картуза и обуви не имел. Все обветшало на нем, материя стала редкой, точно вихри обдували его. Лицо, лишенное детского запаса жира, было худощавым и морщинистым, серые угрюмые глаза глядели терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар.

— Ну, ничего, — сказал Яков Саввич. — Жить будешь, — и опустил ребенка на землю.

Мальчик стал жить в кузнице. Он ел так мало, что Яков Саввич его не прогонял, портки же и рубашку он чинил сам, когда они раздирались от старости. Во сне ребенок часто бредил одной и той же мыслью о матери и об отце, а Яков Саввич слушал и ухмылялся: он знал, что родители ничего не означают, кроме детской мечты в сердце.

Вскоре сирота собрал себе тряпки по соседним дворам и сшил мешок; в этот мешок он накопил хлебных кусков, а потом в одно утро стал прощаться с Яковом Саввичем.

— Пойду мать искать, с чужими скучно жить.

— Я тебе пойду! Я тебя ремнем драть буду.

— А я жрать много стану, тогда сам прогонишь.

Яков Саввич задумался. Он попросил жену товарного кондуктора, чтобы она усыновила его мальчика, а он зато не будет брать с них плату за квартиру. Однако кондукторша отказалась: кормить не жалко, но своих детей много и за безродного тоже надо душой болеть, как за своего.

Мальчик на время присмирел и потихоньку сделал себе башмаки: снизу положил деревянные подошвы, а верх обсоюзил кровельным железом; затем он собрал и насушил себе

грибов и пошел куда-то прочь: Яков Саввич, ходивший продавать готовые ведра, вернул его уже с улицы:

— Ты куда?

— По своему делу.

— По какому — своему? Ты где обужу взял?

— Сам сделал. Пойду теперь далеко, обуже ноги не уморятся, — и никогда к тебе не вернусь.

— Фу-ты, скот какой! Так ведь я же твой отец и есть!

Мальчик осторожно поглядел на старого кузнеца.

— Отец бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты спишь... Ты мне чужой!

— Я сам сирота, — ответил Яков Саввич, смущаясь печали ребенка.

— Тебе давно отцом пора быть, а ты нет... Я жду, когда только вырасту. Ем только мало — на мне говядина не держится. Приняться не с чего.

— А что! — испугался Яков Саввич.

— Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня нету.

— А сколько тебе лет-то?

— Если бы были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как, я все позабыл.

Яков Саввич вернул его назад, и мальчик умолк. Пока у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просяное зерно и разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги, каждый отдельно, а потом сходились опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке. Яков Саввич сделал для сироты железную клетку, и мальчик стал водить в ней воробьев. Но воробьи жили недолго, они скоро умирали, ложась навзничь в своей тоске. Тогда мальчик начал сажать их в клетку по два и по три, чтоб у них рождались дети и они жили бы ради них без печали. Однако воробьи опять ложились и все умирали. Это событие озадачило даже Якова Саввича, но он не знал, в чем тут тайна, — ведь даже соловьи живут в клетках и орлов приручают, а воробей все равно ютится почти под ногами, почему же он сразу кончается в клетке... Зачем ему свобода, когда он летает в длину на один аршин и проживает свою жизнь на двух соседних дворах? А кто может перелететь через море, тот, оказывается, и в клетке поет!

— Будь же ты все проклято: значит, я вроде воробья! — сказал Яков Саввич. — Либо опять мне тронуться куда-нибудь! Так ведь одинаково везде — поля да избушки, облака и мелкие речки... Ну что ж: пусть я воробей, а ведь если другой птицей стать, то в клетке насидишься.

Мальчик перестал водить воробьев. «Вы не люди, — сказал он им, — надо мучиться, а вы прямо умираете, с вами не игра». Он часто ходил по саду, ища в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-либо родства себе, привязанности и взаимного горя одиночества, но обманывался только на короткое время, потому что его сердце было серьезным.

Каждый день сирота прислонялся лицом к окну в глиняной стене и смотрел, что там есть внутри дома. Там стояла табуретка, а на ней ведро с водой и кружка. Рядом с табуреткой находилась деревянная кровать, на той кровати всегда сидела лысая старуха и глядела белыми, забытыми глазами в одно пустое место перед собой. По старухе иногда ползали мыши, ее шею ели клопы, но она их плохо чувствовала или жалела свою силу, чтобы бороться с ними. Мальчик долго ее боялся, но старуха раз сидела и плакала с открытыми глазами, тогда он вынул оконную раму и влез внутрь глиняного дома. С тех пор он почти каждый день бывал в гостях у старухи, снимал клопов с нее и прогонял мышей. Старуха ничего не говорила мальчику, только раз, когда он подошел к ней близко, она положила легкую, как деревянную, руку ему на голову, на русые волосы и перебирала их своими пальцами. Скоро мальчик привык ходить к старухе, и она ждала его; он замечал через окно, что если он пропускал день или два, то старуха сидела скучная, или плачущая. Мальчик научился мыть старуху, варил ей кашу в кузнечном горне и

сшил на ее голую голову чепец из старых варежек Якова Саввича, чтобы она не застывала по ночам.

Раз в неделю к старухе приходила дочь, пожилая женщина, приносила ей хлеб, меняла воду в ведре и молча уходила опять. Мальчик узнал, что у старухи восемь сыновей и пять дочерей, все они большие и даже старые, есть среди них богатые и бедные, но к ней давно никто не ходит, кроме средней дочери, и она забыла лица своих детей, не помнила, кому сколько лет, и путала живых с умершими в младенчестве.

Чтобы старухе не скучно было, когда она сидит одна, мальчик поймал для нее щегла, посадил его в свою воробьиную клетку и принес ей в подарок. Вынув, как обычно, окно, он пролез внутрь комнаты. Старуха лежала на полу, навзничь, глаза ее были открыты, но не глядели. Мальчик наклонился к ней и стал складывать ей руки на грудь, заголившиеся ноги одел платьем, а веки глаз закрыл пальцами, — он видел, как обращаются с мертвыми, и знал это дело. Теперь ему не было смысла оставаться у кузнеца, раз умерла старуха, и надо скорее искать мать или отца, чтобы сразу же не заплакать от горя.

Он выпустил из клетки щегла, перелез через плетень и ушел отсюда чужими огородами, не взяв с собою ничего и не наевшись под конец.

Яков Саввич сильно заскучал по пропавшему мальчику, но найти его не старался: мало ли кто пропадает на свете. Он и сам пропал через несколько времени, когда наступила Февральская революция. Яков Саввич правильно посчитал, что революция доходнее всего, выгодней даже, чем часы вечного хода, и пошел в нее орудовать, а через полтора года его убили на гражданском фронте. Яков Саввич служил добровольцем в красной артиллерии на стороне многих безродных сирот, а другая артиллерия попала в него, но он умирал в полной мысли, сказав самому себе на прощание: «Вот я и отделался сам от себя, давно бы пора», — и сжал веки, наболевшие от зрения в течение жизни.

Тот мальчик-сирота вырос по другим местам в большого честного юношу. Он много раз затем проезжал по той дороге, где стояли когда-то уездные сады и в одном из них была деревянная кузница и глиняный дом старухи. Он никогда не узнал и не нашел точного расположения своего детского мира: кругом — стране бывших сирот — стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед, и многие, неизвестные, красивые люди народились повсюду и ходили везде. Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им: он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности.

## **В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ**

(Машинист Мальцев)  
Фантастический рассказ

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на

нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станет после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью



пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

## 2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слышали, — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смиренные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень утомился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещающая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руку к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажки. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

### 3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть следствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

-- Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном размышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь, — сообщил я ему.

#### 4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимой я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведущему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо

пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, — может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас. — Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь. — Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение, — высказал я надежду, — как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невинность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь, — объяснил я ему. — Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает...

— Я вас понимаю, вы правы, — тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, — дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ход и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.  
— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву. Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:  
— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!  
Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.  
Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

## МАРКУН

### *Фантастический рассказ*

Каждый вечер после ужина, когда его маленькие братья ложились спать, он зажигал железную лампу и садился думать.

Ему никто не мешал. По полу бегали тараканы, ребяташки бормотали во сне и плакали. Гуни сползали с них, и пухлые животы дышали туго и тяжело, как у храпевшего отца.

Маркун нашел в книге листик и прочел, что он записал еще давно и забыл: разве ты знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя. И еще: но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и Федором, и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, то есть полюбить. Ведь и любишь-то ты себя потому только, что знаешь себя увереннее всего. Уверься же в других и увидишь многое, увидишь все, ибо мир никогда не вмещался еще в одном человеке.

Пониже на листике было написано: ночь под 3-е февраля. Мне холодно и плохо. А вчера я видел во сне свою невесту. Но ни одной девушки я никогда не знал близко. Кто же та? Может быть, увижу и сегодня. Отчего мне никогда не хочется спать?

Маркун прочел и вспомнил, что больше он ее во сне не видел. От недавней болезни у него дрожали ноги и все тело тряпкой висело на костях. Но голова была ясна и просила работы. В нем всегда горела энергия. Даже когда он корчился в кошмарах, он помнил о своих машинах, об ожидающих чертежах, где им рождались души будущих производителей сил. Его мучило, если он находил ошибку, неточность и не мог сейчас же ее исправить.

Маркун вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел.

На дворе в морозе завизжал свисток паровоза. На большом листе были начерчены крутые спирали. Толстая, изогнутая шесть раз труба в своем хребте хранила мощь размаха и вращения. Зубчатые передачи были готовы встретить удары зубцов о зубцы и сдвинуть всякое тяжелое сопротивление.

В углу бумаги Маркун написал: природа — сила, природа — бесконечна, и сила, значит, тоже бесконечна. Тогда пусть будет машина, которая превратит бесконечную силу в бесконечное количество поворотов шкива в единицу времени. Пусть мощь потеряет пределы и человек освободится от борьбы с материей труда.

Чтобы вскинуть землю до любой звезды, человечеству довольно одного моего мотора-станка.

Маркун встал, оперся о печку, и сон тихим ветром налетел на него.

В это время в поле разыгрывалась метель, и паровозы еле пробивали сугробы и рвали тендерными крюками завязавшие в снегу вагоны.

Через дальнейшее теплое море шел яркий, веселый паровоз с смеющимися красавицами. Кроткими глазами они смотрели в большое ночное небо и ждали утра, когда приедут на берег, в белые города, к родным забытым матерям.

Маркун очнулся.

Архимед, зачем ты позабыл землю, когда искал точку опоры, чтобы под твоей рукой вздрогнула вселенная?

Эта точка была под твоими ногами — это центр земли. Там нет веса, нет тяготения — массы кругом одинаковы, нет сопротивления. Качни его — и всю вселенную нарушишь, все вылетит из гнезд. Земля ведь связана со всем хорошо. Для этого не нужно быть у земного центра: от него есть ручки — рычаги, они выходят по всей поверхности.

Ты не сумел, а я сумею, Архимед, ухватиться за них.

Сильнейшая сила, лучший рычаг, точнейшая точка — во мне, человеке. Если бы ты и повернул землю, Архимед, то сделал бы это не рычаг, а ты.

Я обопрусь собою сам на себя и пересилю, перевешу все, — не одну эту вселенную.

Лампа, я не нахожу света светлее твоего.

Маркун любил чертежи больше книги. В этой сети тонких кривых линий, точных величин, граней и окружностей дрожала оживляющая сила машин.

Он раз написал линиями песню водяного напора. Он вычертил с линейкой и циркулем эту бурю линий и повесил на стену. Когда он спросил у одного друга объяснения чертежа, тот не понял и отвернулся. А у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови.

Если устроить двигатель, — думал Маркун, — вырабатывающий в секунду определенную величину энергии; если связать с ним непосредственно одним валом другой двигатель, дающий в ту же секунду энергию в два раза большую против первого двигателя, и если давать им неограниченное количество естественных сил (воды, ветра), то тогда общая работа этой пары моторов будет такова: вращение сначала будет соответственно работающей естественной энергии в первом малом моторе, потом увеличится в два раза, так как второй мотор одновременно съедает естественных двигающих сил в два раза больше. Но первый мотор тогда тоже начнет потреблять силы в два раза больше против первого момента своей работы, иначе говоря, он заработает с мощностью второго мотора. А второй мотор, как в два раза сильнейший, опять будет работать энергичней первого в два раза (значит — в четыре относительно первого момента) и потянет за собою вал на четверное ускорение против скорости в первый пусковой момент. Потом ускорение будет равняться 8, 16, 32... Итак, мощность будет возрастать бесконечно; предел ее — прочность металла, из которого сооружены моторы.

Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна последняя, шестая спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой.

Всякая теория — ложь, если ее не оправдает опыт, — подумал Маркун. — Мир бесконечен, и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя турбина и оправдала этот закон.

И огнем прошла неожиданная мысль, что *если бы найти металл* с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости. Но такой металл есть: он просто одна из видов мировой энергии, вылитая в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей сил и их форм. Но тогда моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора.

Я построю турбину с квадратным, кубическим возрастанием мощности, я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом.

Били часы. Маркун не считал их.

На подстилке затрясся его маленький брат в пугающем сне. Маркун нагнулся над ним...

Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями.

Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам — чужой. Все неизвестное и невозвратное — для нас любовь и жалость.



Совесть сжала его сердце, и страдание изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, бессильную и ничтожную, запутанную в мелочи, ошибки и незаметные преступления.

Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола, и с той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянного быстрого взмаха его руки, думал, что будет опять бить.

Лампа гасла. Метель пошла на сутки.

Маркун вышел во двор. Ветер гудел в туче снега, а иногда вверху метель прорывалась и видны были одна-две испуганные звезды на сером, будто близком небе.

Маркун крикнул. Холодный ком ударил его по лицу и потек за рубашку. На миг вдруг все стихло, и звезда совсем близко улыбнулась ему.

Сколько мы видим и сколько не видим звезд, — подумал Маркун. — Они *светятся отраженным* светом чужих солнц. А если на других звездах живут сильные разумные *существа*: они ведь превращают этот свет в работу, поглощают его своими машинами, и их миры нам не видны, они темны, и, может, есть рядом с землею, ближе луны, большая темная планета, а мы ничего про нее не знаем. Она вбирает в себя всю энергию света и тепла, не дает никаких отражений, невидима и мертва для нас.

Маркун вернулся домой. Лампа потухла, и фитилек горел далекой красной искоркой. Он лег на пол и замер до утра.

Прошли месяцы. Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины. Но не стал ее сразу пробовать, а спрятал в сарай и забыл про нее. Теперь для него потянулись дни томительного счастья ожидания.

Маркун верил в себя. Знал, что нет, не может быть ошибки в спрятанной машине. Она пойдет. Ее мощь безгранична. Он, Маркун, победил многие силы. Никто еще ничего не знает. Не знает, что это он дал человеку в его немощные руки новый молот безумной мощи.

Была весна. Маркун ходил по вечерам в поле и глядел, как горел закат на небе и в болотах и в лужах. Везде была вода, вода и тишина. И прошлый год, и вот теперь он весной кого-то любил. Он был незаметен и жил одиноко.

Но в детстве, когда он потерял веру в бога, он стал молиться и служить каждому человеку, себя поставил в рабы всем и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека, как тайны, как бога и наполнил свою жизнь стыдливою жертвой и трудом для него.

Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребенку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. Он так привык к сараю, что не плакал там и не умел играть и смеяться.

Весеннее прохладное небо темнело, будто уходило выше. И на краю поля поднимался туман.

Маркун стоял под лозиной в тишине и влажной мути, ползущей по полям. И не мог понять своей скрытой любви ко всему.

Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой. Должно быть, кликала кого из лесу, кричала мягкою грудью, ласково и протяжно, и улыбалась.

Маркун ничего не слышал и прилег от неожиданной муки и боли на землю.

Неслышно прошел мимо странник и сразу пропал на дороге.

Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у окна и смотрел в небо, на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь.

Завтра он пустит машину. Все в нем сразу стихло, сжалось, и он забылся, будто упал в колодезь без дна.

Еще горела последняя утренняя звезда и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошел через него и потух. А Маркун все забыл. Он стоял, двигал скулами, прилипался и тянулся мыслью за убегающими тараканами и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне. Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее.

Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его.

Маркун вышел на двор. Было тихо, морозно и светло. Если глянуть сейчас в просторное поле вверх по дороге, то увидишь далеко, и кто-то идет к тебе тихо и прямо, издали.

Маркун пристроил в сарае к углу турбину, привинтил чашку, в которую упиралась пята машины, и воронку и принес от крана с улицы пять ведер воды. Воду он вылил в бочонок, потом смазал машину, повернул ее оборота два рукой и засмеялся своей одинокой радости.

Позвать бы, сказать кому? Нет, тогда, после. Его и так считают дураком, не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят.

И он вспомнил девушку, что махала у леса рукой и звала. Если бы она пришла сейчас в сарай. Рассказал бы ей все, она поняла бы его, и он взял бы ее за ту же руку. И Маркун улыбнулся от счастья и тоски.

Загудел гудок. Маркун вспомнил о труде, о работе до крови, о борьбе и утомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества.

Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран — и машина рванулась и загремела. Вокруг ее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды.

Маркун все подливал воды. Турбина ревела и, казалось, стояла неподвижно от быстрого вращения. В воронке вода крутилась вихрем от всасывания машиной. И слышно, как выла и стонала вода по спиральям. Машина наращивала силу. Машина расходилась и свистела от хода и резала водяным вихрем воздух.

Маркун стоял. В нем была тревога и ожидание. Все замерло в нем, будто он только родился и ничего не понимал. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его.

От ударов машины в стену трясся и подпрыгивал весь сарай. Внизу задымился подшипник, через секунду из него дрожью било пламя.

Машина увеличивала ход. Мощь ее росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость.

Лопнула нижняя спираль, с визгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор.

Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю.

Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру.

Загудел третий гудок. Второго Маркун не слышал.

«Я оттого не сделал ничего раньше, — подумал Маркун, — что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я — ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром.

Я первый, кто осмелился».

Маркун взглянул на бледное, просыпающееся небо.

Мне оттого так нехорошо, что я много понимаю.

## РАССКАЗ О МЕРТВОМ СТАРИКЕ

## Фантастический рассказ

Вся деревня Отцовы Отвершки ушла со своего места назад, в далекие тихие земли России, потому что на деревню шел враг — немец-фашист.

В Отцовых Отвершках остался на жительство лишь один последний человек, маленький и сердитый дедушка Тишка. Он никуда не хотел уходить с родного двора, потому что тут, на деревне, прошла вся его жизнь, тут, на погосте, лежали в земле его родители, и тут же он сам схоронил когда-то своих умерших детей, и младенцев и взрослых. И дедушка Тишка, чувствуя скорое окончание жизни, не хотел отдаляться от родных людей: с кем он жил вместе на свете, с теми он желал и в могиле рядом лежать.

Старика увещевали односельчане, чтобы он тоже трогался с ними — обождать в тихой земле, пока врага назад обратно погонят, а потом опять ко двору со всеми вместе возвратиться.

Но Тишка не захотел их слушать.

— Это какие немцы? Конопатые, что ль? — спрашивал он через плетень у соседей, собиравшихся в дорогу. — Ну, знаю! Я их видел: алчный, единоличный народ; все к себе в котомку норовит сунуть что-нибудь — хоть деревянную пуговицу, хоть горлышко от бутылки, а все — дай сюда!.. Он, фашист, к избе своей подходит, так за полверсты, гляди, уж обувку с ног долой снимает и босой бежит, — а чтоб зря материал не снашивать, дескать! Это народ догадливый — он из паутины канаты вьет, из куриной головы мозгом пользуется, — я-то их знаю: у них сердце кишками кругом обмотано... Нет, это не тот народ, без которого скучно бы нам было жить. Нет, это не те люди!..

— Уедем, дедушка Тишка, до времени, — говорил ему сосед. — Неприятель лютует, оскоблит он тебя до костей...

Но Тишка не побоялся.

— Я тут буду, — сказал он. — Я, может, один окорочу всего немца!

Все жители Отцовых Отвершков ушли и увезли из деревни добро до куриного пера, а колодцы завалили под одно лицо с землей.

Тишка остался один; он поставил бочку под угол избы, чтобы собирать дождевую воду с деревянной крыши, сел на крыльцо и сосчитал воробьев, пасущихся во дворе, — их было семь голов; а прежде было больше, стало быть, и воробьи ушли с мужиками в большую Россию, воробью без мужика жить невозможно.

Окрест деревни и в дальних полях тихо было сейчас, точно война уже давно миновала и снова стало мирно на свете. По теплomu воздуху летела паутина, в траве трещали кузнечики и шуршала в своем существовании прочая кроткая тварь, а на небе остановилось белое, сияющее солнцем облако, и оно медленно иссякало в тепле, обращаясь без следа в небесную синеву. Лишь где-то в умолкшем поле ехала последняя крестьянская телега, удаляясь отсюда в сумрак вечера, но и она утихла, оставив за собою онемевшую землю, где сидел сиротою у своей избы один дедушка Тишка. Он сидел молча, однако не чувствовал ни одиночества, ни страха.

Вокруг него были сейчас порожние избы и безлюдные хлебные поля, но думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни осталось здесь, вблизи дедушки Тишки. Он глядел возле себя, и он видел по привычке знакомые лица людей и беседовал с ними.

— Марья, что мужик-то, пишет тебе чего из-под Челябинска иль уж забыл тебя?

— Пишет, дедушка Тишка, — говорила Марья. — Намедни купон по почте получила, сто рублей денег прислал. Живет, пишет, сытно, да у нас-то, думается, на деревне, все ж таки сытнее будет. Пусть бы уж ко двору скорей ворочался: чего плотничать ходит на старости лет! Привык без семейства вольничать, вот и носит его нечистая сила!

— Объявится! — произносил Тишка в ответ женщине. — Не убудет, целым, кормленным придет...

— Дедушка Тишка! — кликал его из-за соседского плетня невидимый подросток Петрушка. — А что муравей, это тоже — как человек?

— Тоже, — отвечал Тишка. — Каждый по-своему человек.

— А тогда я, значит, тоже как муравей! — догадывался Петрушка.

— Ты муравей, — соглашался с ним старый Тишка.

Но, ответив мальчику Петрушке, дедушка Тишка услышал, что в пустом овине повторился его голос и в безмолвном за вечеревшем воздухе кто-то еще раз пробормотал его слова; это было нелюдимое эхо. Все стало пусто, все жители уехали отсюда, и смертной жалостью к ним заболело сердце Тишки.

Он поднялся с крыльца и пошел на улицу, желая встретить там что-нибудь живое и знакомое — забытую курицу, кошку или воробья.

На улице никого не было; оставшиеся в деревне птицы и животные не привыкли жить без человека в такой тишине, и они, должно быть, ослабели и спрятались от страха или ушли вослед людям.

Но где не могло жить животное, старый человек жил. Он мог жить здесь одною тоскою об ушедших людях и ожиданием их возвращения, настолько его сердце было предано жизни.

Ночная тишина продолжалась, а в той стороне, куда шла русская земля, занялось зарево пожара.

«Это неприятель кругом меня охватывает, — подумал Тишка. — Потерплю покуда, а потом приму свои меры».

Тишка еще не знал в точности, какие он примет меры против силы врага, но он верил, что при нужде сразу сообразит, что нужно ему делать, потому что врагу пора дать окорот, врагу нельзя отдавать землю с хлебом и добром. Иначе нечем будет жить народу и некуда будет людям возвратиться домой. Чтобы встретить неприятеля, Тишка вышел на околицу, на ту сторону деревни, откуда прежде всего мог появиться фашист, и лег там на ночь у дороги.

Ночью, высоко поверх Тишки, шли звезды по небу; дедушка видел их и думал:

«На покое живут; что у них там? — такое же положение жизни, как у нас, иль все-таки гораздо лучше; пускай горят подальше от нас, — может быть, хоть целыми останутся: будь они поближе, в них бы фашисты из пушек стреляли и потушили бы их, либо туда бы взобрались и затеяли там беду; нет, пусть уж они светят далеко и отдельно, чтоб их никто не достал!»

Успокоившись, что звезды навеки останутся нетронутыми, старый Тишка приподнял голову, глянул на пустую деревню, на тихое вечное поле, загоревал и уснул. Во сне он увидел, что он умер и лежит на столе в чужой большой избе, а незнакомые люди плачут по нем. От страха и печали Тишка проснулся.

«Это умершие люди меня к себе зовут, — разгадал старый Тишка свое сновидение. — Теперь многие молодыми помирают, вот они и ревнуют меня, старика, что я живой, а что мне помирать? — мне помирать пока-что расчета нету!»

Было еще далеко до рассвета, но Тишка уже поднялся навстречу неприятелю. По-прежнему тишина хранила землю, однако уже наступила пора окоротить врага, покуда он не появился здесь, возле изб, с огнем и смертью.

Тишка взял посошок с земли, оставленный когда-то у дороги неизвестным прохожим человеком, и пошел вперед, чтобы остановить врага и сразить его.

Дед шел между созревшими хлебами и бормотал в ожесточении:

— Вот оно, добро-то, поспело и стоит! Раньше-то чем был хлеб? И прежде он был дело святое. А теперь он сам сердцем нашим стал: как его пожжешь, как погубишь? Врагу-мучителю, то же самое, оставлять его нельзя: в хлебе вся сила, где ж она еще? Эх, мать моя, не спросясь ты меня родила!..

Издали, из ночи, чуть тронутой рассветом, навстречу дедушке Тишке шел молчаливый темный человек.

Тишка оглянулся назад, на деревню; в сумраке раннего утра там стояли знакомые избы, и росистая влага пеленой неподвижного дыма занялась над ними, будто все печи в деревне с утра затопили на праздник.

Народ и сейчас был там своею душой и памятью — он был в этих избах и в хлебных полях вокруг них: в скупой и верной любви жизнь людей навек и неразлучно срослась здесь с хлебом, с землей и с добром, нажитым в постоянном труде, — и старый Тишка ничего не мог здесь пожечь или порушить, потому что это было бы то же самое, что убить народ.

Тишка одумался и пошел дальше вперед. Навстречу ему из предрассветного сумрака теперь шел не один темный человек, а много людей. Они спешили, и вскоре сразу все вместе они очутились возле Тишки. Двое из них уставили против Тишки ружья-автоматы, но дед был сердит на неприятелей еще прежде, чем они его увидели; он стукнул палкой о землю и крикнул на ближнего врага:

— Окоротись, жулик! Иль не видишь, кто тут такой находится?..

Маленького роста, с большой окладистой бородой, яростный и оскорбленный, стоял против врагов дедушка Тишка, чувствуя полную свою правомочность.

— Прочь назад отсюда! — воскликнул Тишка. — Ишь, нахальники, чего затеяли! Что за жизнь такая, скажи, пожалуйста: они народ наш губить пришли! Иль вы не понимаете ничего, — так я вас враз всему разуму научу!.. Опустите ружье, тебе говорю, пропащий ты человек!

И Тишка с молодым, затвердевшим от ненависти сердцем замахнулся своей дорожной палкой на ближнего немца и на всех их, сколько их было, — он их не считал.

— Отходи назад, беспортошные! Окорачивайся тут, пока цел.

И дедушка бросился в атаку на чужое войско: он знал, что злодей всегда робок и он действует лишь до тех пор, покуда его не пристрожит народ; Тишка понимал, что негодный человек слаб на душу и настоящей силы в сердце у него нет. И поэтому Тишка пошел на врага безопасно, как в кустарник. Сначала он бросился было на немцев как можно скорее, норовя изувечить каждого палкой по лицу, а потом отбросил палку и пошел на них спокойно; он решил их взять врукопашную.

— Вы без железок, без танков, без шума и грома, без хулиганства вашего воевать не можете! — воскликнул маленький дедушка Тишка. — А я и без палки, я безо всего могу, — я знаю вас, комариная куча! Ишь ты, они пугать нас тут пришли! Ишь ты, они народ побить захотели!.. А ну-ка, сторонись и кланяйся в землю!

Тишка зарычал на врага и нанес ближнему немцу удар в горло, так, что у неприятеля там заклокотало, а у дедушки осушилась рука.

Один немец удивленно и внимательно глядел на чужого русского старика и слушал его; может быть, думал он, это важный здешний человек, потому что он говорит сердито, как начальник, и хоть по росту маленький, а по званию, может быть, большой. Но другой немец, которого ударил Тишка, выстрелил в старика, и дедушка упал. Как всякий человек, Тишка не допускал, что он может однажды умереть; он предполагал, что как-нибудь выволитися от смерти, когда придет его срок. Тем более он не верил, что к нему придет смерть от чужой нечистой руки.

— Не может быть, поганец! — сказал или подумал сказать Тишка и стал забываться, прикинувшись к земле.

На него ступали тяжелые немцы, но он их уже не чувствовал. Он чувствовал маленькое горячее постороннее тело в своей груди, и оно жгло его, медленно остывая, и, чтобы остудить скорее смертную пулю, сам дедушка Тишка весь холодел.

— Совладаю! — решил Тишка, вовсе слабея, и, уже тоскуя от немоги, сонно и равнодушно подумал о смерти:

«Зря помираю: мне еще не время, — будь бы время!»

Он проснулся вечером, затемно, осторожно, недоверчиво огляделся вокруг: было все то же самое, что было, — земля была цела, по ней лежала дорога, возле дороги стояла некошенная рожь и вдали виднелись темные, нежилые избы. Тогда он подумал о себе; он почувствовал в

груди резкое чужое железо, которое мешало ему дышать, точно железо там поворачивалось от вдоха; при каждом движении он теперь вспоминал об этом железе, а раньше не помнил, что дышит. Но Тишка, удостоверившись в жизни, не боялся немецкого железа.

«Врастет, обживется, салом подернется, и я сам про него забуду, что есть оно, что нет».

Он встал, пошел обратно на свою деревню.

У последнего плетня ходил понемногу туда и сюда немец-часовой. Немец подпустил дедушку Тишку близко к себе; он думал, должно быть, что по малому росту это идет ребенок.

Тишка подошел к врагу и угадал в нем по лицу того неприятеля, которого он ударил в горло. Этот враг, стало быть, и убивал его насмерть.

Немец сначала уставился на Тишку, хотел что-то исполнить, но сразу занемог, оплошал и привалился к плетню. Дело было ночное, темное, сторона чужая, и фашист испугался увидеть живым мертвеца, того, кого он сам убил. Тишка понял слабость неприятеля и тронул его еще вдобавок для проверки рукой.

— Убитых боитесь, а с живыми воевать пришли! — сказал Тишка врагу. — Эка малоумные какие!

Старик пошел дальше по деревне. Повсюду в темных избах спали немцы и храпели во сне. «Тоже все одно и они храпят, — подумал Тишка, — могли бы и они людьми-крестьянами стать, да не стерпели: разбой-то он прибыльней пахоты».

Врагов в деревне теперь было много, больше, чем когда дедушка ходил на них в атаку. Они собрались, видно, сюда со всей округи на харчи и на отдых. Только они спали сейчас натошак, потому что народ убрал за собой и утаил всю пищу и увел живность, и даже колодцы были засыпаны на погребение.

Тишка знал, что утром, как только немцы опознают его, то опять убьют.

— Эка смерть — вот тебе невидаль! — осерчал дедушка в своем размышлении. — Не всякая смерть тяжка, не всякая жизнь добра!

Тишка почесал ранку под рубашкой на груди: она теперь уже подживала, и пуля в теле чувствовалась небольно.

— Тратятся враги зря на меня! — посчитал старик чужой убыток и вышел на взгорье возле деревенской кузницы.

Там он стал на колени, обратился лицом к дворам и к избам и поклонился им в землю на прощанье. Все было кончено для него — жизнь окончена и окончена надежда, хотя он и был здоровый и живой.

— Ну, теперь ты без меня один живи, добрый и умный! Я тебе больше не помощник! — вслух сказал дедушка Тишка, обращаясь к тому человеку, которого он любил всю жизнь и которого никогда не видел.

Тишка пошел в знакомое место, где лежала большой горой молоченая солома. Она свозилась туда уже три года, и в свое время дедушка Тишка делал возражение правлению колхоза, что это, стало быть, непорядок и упущение: солому тоже нужно было обратить в пользу. Но теперь он увидел, что и непорядок и упущение стали теперь для него пользой, он подошел к той соломе и остановился для соображения. Тишка хотел точно знать, откуда тянет воздухом и откуда надо поджигать, чтобы зажечь от той соломы всю родную деревню.

Тишка нашел укромное место и зажег кремнем и огнивом ветхую солому; отсюда, он полагал, займется вся деревня: изба была близко, плетень подходил к самой соломе, и тут же, возле, находился колхозный овин. Все колодцы в деревне завалены, враги спят, и огонь будет свободно уничтожать добро народа, пока не дойдет до черной земли.

Старая, сухая деревня занялась по кровлям, по плетням, по всякой жилой ветоши, и полымя высоко взошло в тишину темного неба, и огонь начал отделяться от общего пламени и поплыл облаками в сторону неприятеля, освещая сверху всю бедную, страшную жизнь на земле.

Тишка отошел на время в поле и оттуда глядел, как огонь поедом ест избы деревни и как враги, не успевшие задохнуться во сне, выбегали наружу и отходили обратно туда, откуда пришли.

От горя и утомления Тишка лег возле ржи и уснул, а деревня сгорела огнем и дотлевала сама по себе.

Пробудившись среди дня, Тишка увидел на месте деревни мертвую черную землю. И Тишка почувствовал, что вместе с деревней у него в душе тоже умерла и умолкла прежняя сила, с которой он привык жить. Теперь он ослабел, и что-то отжило навсегда и словно поникло в его сердце.

Тишка пошел на место деревни, нашел там, где была улица, немецкую саперную лопату и начал рыть себе под жильем землянку; он стал работать в той же земле, на которой стояла вчера живой его изба. Земля еще не остыла и была теплой от огня.

Отрыв немного грунта, Тишка нашел сначала пятак денег, а потом оловянные серьги, которые носила когда-то в молодости его покойная жена, и дедушка заплакал в своем воспоминании о ней.

В это время к нему исподволь, потихоньку подошел человек. Тишка оглянулся и опознал немца, и хотя у неприятеля было закопченное, похudevшее, чуждое лицо, но это был опять тот же самый враг, который уже убивал однажды его, Тишку-старика.

— Чего ты все ходишь тут, нечистая сила? — зашумел дедушка на немца.

Немец посмотрел на Тишку белыми, испуганными глазами и отошел прочь.

«Ошалел конопатый, — подумал Тишка. — Озорства в них и алчности много, а силы настоящей нету, нет-нету! Да откуда ж взяться у них настоящей силе-то? Неоткуда: ни одна живая душа не прильнет к ихнему делу, их дело для сердца непитательное!..»

К вечеру, к закату солнца, Тишка отрыл себе землянку и начал для уюта и удобства жизни стлать в ней траву, и опять в душе Тишки ожила умолкшая было сила, и слабость его сердца прошла, потому что он уже построил себе жилище и потому что не вечно будет горе разорения, а народ возвратится и нарождается вновь.

— Сказал — окорочу здесь неприятеля-врага, и окоротил! — произнес сам для себя дедушка Тишка. — Где он, враг, теперь? Его нету, а я тут!..

И с тех пор дедушка Тишка стал жить в своей землянке, но только сильно скучал и горевал по народу. Однако он знал, что раз земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага, то в свое время все обратно возьмется от земли — и хлеб, и избы, и любое добро, — и от нее же вновь оживет и повеселеет печальная, обиженная крестьянская душа. И народ пришел к дедушке Тишке вскорости, скорее, чем он ожидал его.

Еще не доспал Тишка третьей ночи в своей землянке, как на утренней заре к нему явились двое крестьян из дальней деревни и сказали, что они партизанские бойцы, а про Тишку они слышали от одного пленного немца, помешавшегося умом, что этот район неприятель называет «зоной мертвого старика», тут будто бы воюет против всех немцев один мертвый старик — и вот народные бойцы пришли сюда, чтобы узнать всю правду и поговорить по душам с мертвым стариком, если он живой.

Тишка долго и молча слушал двух крестьян, тоже пожилых людей, а потом объявил им:

— Что ж, идите все, сколь вас есть, сюда ко мне и вступайте под мою команду! Раз я старик мертвый — меня уж убить нельзя и одолеть то же самое! Вам со мной быть полезно, а мне — все одно...

«Это не мертвый старик, а хитрый боевой мужик, — подумали партизаны, — только ростом он слаб, ну, ничего, он зато сердцем сердитый». И они сказали ему, что он годится им в командиры, им нужен такой серьезный, сердитый, небоязливый человек, — и пускай их сейчас пока трое будет, после весь народ придет к ним, потому что больше ему идти некуда, как только домой, на свое родное место, где земля его вскормила, где лежат в могилах его родители.

Дедушка Тишка вздохнул, что мало еще у него войска, и вышел из землянки наружу. Он посмотрел на большое поле в сторону врага; там сейчас пылила дорога вдаль, видно, снова шли немцы оттуда.

— А вы помирать не боитесь? — спросил Тишка у своих бойцов, которые теперь переобувались в землянке.

— Нет, дедушка! Каждый день бояться — соскучишься, — сказал один боец, а другой вздохнул.

— Зря не боитесь! Это вы зря сказали! — произнес Тишка и тут же приказал им возвышенным голосом: — Смерти остерегайся и нипочем не умирай! Солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны, а то для кого же тогда жизнь? Войско тем и живо, что в смерть не верит, смерть — она полагается только неприятелю, а нам — нету смерти! Объявляю боевую тревогу, вылазь ко мне, окоротим врага!

## ТАКЫР

### 1

Давно в ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркмен. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком, рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пеших было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пеших людей настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко склонившись, привязанный к седлу и к шее своей уцелевшей лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приурочился в тень старой чинары, растущей к небу и не умирающей много веков. Конные спешили, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнею ночью кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине по имени Заррин-Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Харасана, откуда ее вели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одному глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был



запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра. Нужно было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умирающих, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я! — подумала персиянка про чинару. — Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое вращается в меня, чтобы я его не чувствовала».

Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть женой, если умеет плакать, и смирно умрет под яшмаком в Туркменистане.

Луна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж, она легла на землю среди всех...

«Гель-Эндам давно увели эрсари, — шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться, — Фатьма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рождает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хорасанской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножья. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли дальше. Вскоре Заррин-Тадж узнала своего мужа и хозяина — Атах-бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и отставал ото всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-бабы и его бороды.

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-бабу встретили

четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламани родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорасана для своего господина, у которого жила за пищу два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. Лучшее время то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась, — сказала Заррин-Тадж. — Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не заметила, когда произошла жизнь: она думала, что так было вечно.

Вдруг послышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-баба постоял немного в молчании, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые дырки!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснули и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалеешь ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

### 3

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдиц и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть илидохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдье, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Амударьи.

Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви, и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песками саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди такыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она

ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

#### 4

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдаль, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было, на реке и на горе? — спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется, — ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась; она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется... А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овцы. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла, больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — это остаток великана, но стал маленьким от горя, работы и редкой еды.

#### 5

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступила любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И пища ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее

постоянно горел свет. Мыться ей было негде, — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжело от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-баба довел кибитки до угрюмого места, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно никто не селился и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там в глинистой тьме стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья это башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была убрана голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колодце: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-баба, была Амударья и богатая Хива. Ночью Джумаль лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножия башни. Слезы и счастье находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-баба приподнялся с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха. Но мать промолчала, а Атах-баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановился среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был чужд и ни на кого не похож; он был громаден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, несмотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда, — и она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успокоить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед во тьму от обессилевшего Атах-бабы. Джумаль бежала следом за ними, неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную, ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля...

Атах-баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впиалась ногтями в горло Атах-бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой. Одна ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром начиналась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-баба ее продал и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась грнак, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему не хватает молодой жены для утешения.

Атах-баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза, — сказал Атах. — Она тоже не стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее, — согласился Ода-Кара. — Но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились, и ослицы дали приплод. Кто будет с ними справляться? Старые жены стареют, потом помирают, — надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты недорого ценишь молодых, — сказал Атах-баба, — и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал — кого мне взять: трех старых, привычных старух или двух молодых. Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-баба засмеялся. Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены... Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался, — улыбаясь, произнес Ода. — Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: слезами и потом ушла в песок — говорят. А я им говорю: «Нет, лучше я пойду спрошу про то у старых ишаков с кобелями!»

Заррин-Тадж и Джумаль сидели снаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка плакала и прижимала к себе свою дочь.

Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью, — ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом, — сказала Джумаль. — Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут... Ода говорил, что гость бывает и в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится...

Джумаль задумалась. Ее влекла таинственность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Атах-баба пихнул жену ногой, чтобы она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей

становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

## 6

Наутро кочевье было пусто. Атах-баба еще ночью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Родубегал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стоптанным, когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни; там лежала на полу деревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу, около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака — Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли увезти отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-баба оглядел все помещения, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда. Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова — те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, богу, тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтоб я один остался на свете! Овец стало мало — онидохнут — я один с ними справлюсь, а люди пусть станут душами и живут у бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собою Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнимавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— Смерть, — говорил Мохаммед, это великая разлучница людей, — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами.

## 7

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо. Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль глядела с высоты башни в пустыню: она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел, — по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж оправлялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустила на глину и не могла дальше идти.

— Мама, давай с тобой умрем, — сказала Джумаль. Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня! — попросила Джумаль. Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели...

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая — меньше ее. Она попробовала ее пошевелинуть — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдаль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление.

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое, ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец, Стефан Катигроб, — сказал бродячий гость, — а ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут люди в оседлых курганчах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее; она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных умерших червя, ввевшихся внутрь грудного вместилища, — это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, а кожа матери провалилась меж ребер и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немного и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уж не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но над ней самой можно было склониться и заплакать.

Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, — Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам заплакал и отвернулся... Где-то была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть, навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в песчаную глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ветер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро



— когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней; мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил обувь, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не противилась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени, — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

## 8

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал по-прежнему без звука, без жизни, — пустой, как судьба Джумали. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или тощую овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль слышала далекие выстрелы. Она взяла кинжал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла с него и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джумаль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодезь с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной, — в колодце лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому срубу. Осел, истекавший пеной жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непроходящей, — она забыла, что живет, и делала что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, пропадающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди: Атах-баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседланные лошади, горел маленький костер и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и не удивился, что она еще цела, — наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумаль кусок чурека, и она разглядела ружья, лежащие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

- Врешь, шпионка, — не поверил Атах-баба, — поганая грнак! Рабы все красные!
- Дайте мне попить, — попросила Джумаль. — У вас вода в котле паром уходит.
- Завтра напьешься, — сказал Атах-баба. — Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кары, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль — проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом, когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара вместо крика только сумел прошептать последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что если ее мать — рабыня лежит мертвая где-то, пусть погибают в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стреноженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовку у спящих, связала их, чтобы они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, не поенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-бабы.

## 9

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева (она носила фамилию по имени матери) справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких сведений. Джумаль знала, что где-то есть близ Заунгусской впадины небольшой заповедник древних растений и там живет всего лишь один человек с винтовкой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весной Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле, чем к золотым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белой тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений — она заинтересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не увидев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. По-прежнему пусто и неуютно было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или посмертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли,

свернутый череп глядел в стену, нескольких ребер не хватало, и грудь была смята, точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у входа осталась надпись химическим карандашом по-немецки:

«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся».

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках, изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком, она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горе мое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери, — она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала, куда хотела, — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

1934

## СЧАСТЛИВЫЙ КОРНЕПЛОД

Младший лейтенант интендантской службы Петр Феофанович Харчеватых служил в управлении тыла одной армии и был известен своей инициативностью. Главное свойство Петра Феофановича состояло в том, что, как только он посмотрит на что-либо, на любой предмет или даже на естественное явление, так тут же почувствует, что этот предмет необходимо улучшить или направить его заново или же, по крайности, следует принять в отношении его хотя бы косвенные меры, но оставлять вещь так, как она существует, ни в коем случае нельзя. В дополнительные свойства Петра Феофановича входила также его способность заботливо продумывать каждое дело до самого его конца и даже немного далее.

Эта полезная озабоченность, однако, хорошо и доброкачественно влияла на здоровье Харчеватых. Ему было сейчас уже, видимо, достаточно много лет, хотя и нельзя сказать — сколько именно в точности: у него была та наружность, которая могла соответствовать возрасту от тридцати до шестидесяти лет; во всяком случае, можно было сказать, что этот человек жил еще свою первую сотню лет. Но упитанное тело его постоянно сохраняло деятельную подвижность, а большое, просторное лицо его, на котором малозаметны были маленький нос, пухлый младенческий рот и еле видные глаза, — это лицо его постоянно улыбалось всею своей почти пустой площадью, словно человек непрерывно находился в блаженстве. Может быть,

по этим очевидным признакам тыловики прозвали Петра Феофановича счастливым корнеплодом; его наружность, действительно, имела родство с полной картофелиной-перестарком или, еще точнее, с весовой гирей, если последней сообщить мечтательное выражение.

Недавно начальство совсем уже пожелало было представить младшего лейтенанта Харчеватых к повышению в звании, но затем раздумало и отложило вопрос впредь до выяснения всяких неясностей. Говорили, что самому начальнику тыла армии, генерал-майору, была еще неясна сущность младшего лейтенанта Харчеватых и он хотел определить ее лично.

Сам же пожилой младший лейтенант Харчеватых не заботился о ясности; он заботился о красоте и пользе, которые можно создать из подручного утиля.

В одном разрушенном населенном пункте Харчеватых увидел уцелевшую кузницу. Ему достаточно было беглого взгляда на дело, и он сейчас же стал заботливо думать, что здесь нужно, а что вредно, что нуждается в немедленном усовершенствовании и что бывает на свете лучше кузницы. Обдумав весь вопрос до конца и далее, Харчеватых распорядился ту кузницу немедля переделать в баню. Однако посреди самого разгара строительства, когда кузница уже была наполовину разобрана, а баню складывать еще не начинали, Петр Феофанович Харчеватых неожиданно понял, что пекарня еще лучше и нужнее, чем баня, и испросил разрешения воздвигнуть пекарню. Тем временем, пока из кирпичного боя нестройные бойцы создавали пекарню, в тыл прибыла на ремонт кавалерийская часть — и стало ясно, что кузница лучше пекарни и бани, потому что нужно ковать лошадей. Тогда Харчеватых обратил все строительство вспять и приказал строить кузницу обратно. Но тут объявилось, что, пока строили одно из другого, а затем другое перестраивали в третье, весь материал истратился и раскрошился в промежутках.

Теперь тыловому начальству неясное стало ясным, и оно, вместо того чтобы создать из младшего лейтенанта Харчеватых лейтенанта Харчеватых, обратило его в старшину и назначило действовать в области культуры. Это мероприятие, однако, лишь добавило доброй энергии в Петра Феофановича, хотя он и до того часто бывал весь в поту от усердия и усиленного размышления. Теперь же он решил, что его инициативы было явно недостаточно, раз она не получила должной оценки.

Вскоре тылы армии, двигаясь вперед, проходили по моховым болотам. Жалея, что здесь нету оленей для утилизации в пищу болотного мха, но вместе с тем не допуская, чтобы государственное имущество погибало втуне, старшина Харчеватых задумал научно перевоспитать всех наличных интендантских коз, дабы они даже при нежелании ели мох. Но скорое движение вперед не дало сроку, чтобы можно было осуществить это мероприятие.

На дальнейшем этапе, при прохождении по ореховым кустарникам, Харчеватых наметил улучшение в отношении использования орехов. Он требовал сбережения орехов от хищного и малокультурного поедания их бойцами, дабы весь урожай орехов был использован в высшей экономической форме, а именно: следует из тех орехов добыть путем технического нажатия ореховое масло, а масло употребить для протирки стекол в оптических приборах; по расчету выходило, что на каждое оптическое стекло требуется в год две капли масла, следовательно, один ореховый куст даст приблизительно масла для десяти артиллерийских дивизионов, а небольшая ореховая роща обеспечит полностью всю потребность фронта на четырнадцать лет непрерывных наступательных военных действий.

Начальство приказало старшине Харчеватых держаться ближе к исполнению своих обязанностей, и Харчеватых сейчас же послушался.

В дальнейшем походе вперед тыловое хозяйство части остановилось однажды невдалеке от умершего в огне и бою лесного насаждения. Сосны, посаженные здесь лет пятнадцать — двадцать тому назад для укрепления летучих песков, не успели возмужать и погибли в молодости. Теперь их худые тела, без ветвей и зелени, безмолвно держались в земле, как частокол черных костей какого-то полузакопанного великого доброго животного. Иные мертвые деревья еще стояли прямо, но другие уже склонились под бурею артиллерийской битвы, погубившей их, и

они уже не встали обратно. В одном же месте черные обгорелые сосны лежали вовсе вповал на земле: их убил огонь и опрокинул ветер от взрывных волн. Однако кое-где тонкая, слабая жизнь уже занялась возле омертвевших деревьев; малолетняя поросль сама по себе держалась в земле у корней старших деревьев, и она не умерла — гибкие хлысты ее не сломались от ураганных ударов огня, и ветви с остьюми зеленых игл лишь были опалены, но не сгорели насмерть, потому что поросль была низкой и ее защищали материнские сосны, принимая удары ветра и огня на свои высокие тела и погибая.

На опушке того пескоукрепительного древонасаждения виднелась еще одна ночная труба, оставшаяся от погорелой избушки, в которой жил, должно быть, в мирное время лесной сторож-старичок.

Харчеватых сразу сообразил своей действующей мыслью, что тут можно и необходимо нужно улучшить, использовать и организовать для постановки культработы: он сразу и однократно решил превратить это уголье в парк культуры, гимнастики и отдыха.

Ради того в одно светлое майское утро Харчеватых пошел в обход всей лесной посадки, имея при себе топор и лучковую пилу. Он хотел подумать, попланировать и разметить на месте, как оно тут все должно быть и непременно будет. В черном лесу было тихо и безлюдно; только по низу земли свежела оживающая зелень молодой поросли леса и над нею летали бесшумные бабочки да у печного очага погоревшей избы, что была на опушке, стоял неизвестный красноармеец с непокрытой головой.

Харчеватых вышел к той погорелой избушке, посмотрел оттуда на ближнюю местность, сообразил, и оттуда ему все стало понятным и определенным. Он тут же начал подпиливать и подсекать горелые деревья, а зачавшуюся поросль сносил вовсе топором, чтобы она не мешала его мероприятию. Харчеватых хотел пока что лишь наметить круговую линию, внутри которой следует затем уничтожить все начисто, дабы образовать там первоначальную площадку для всевозможных игр и танцев. Повалив несколько деревьев и посекаши поросль возле них, далее Харчеватых удовлетворился одной зарубкой на стволах; ему достаточно было, как руководителю культработы, только очертить границу круга будущего веселья. После того Харчеватых подошел к печному очагу и ударил топором по обгоревшим кирпичам, чтобы обрушить это безобразие, портившее будущий пейзаж.

— Что вы делаете? — испуганно спросил красноармеец, бывший дотоле безмолвным. — Тут наш дом был, тут мой отец с матерью жили...

— А где ж они? Их теперь тут нету! — сообщил Харчеватых. — А неблагоприятность эта нам ни к чему, она настроение нам портит!

— А зачем вы это все делаете, к чему вы тут хлопчете, когда у меня сердце болит? — тихо спросил красноармеец.

— Как зачем, как к чему? Вот тебе раз! — удивился Харчеватых. — Нам так, стало быть, нужно! Обгорелые деревья на корчевку, почву спланировать вровень в одну площадку, а сверху мы парк устроим: карусели, фруктовая вода, бой конфетти, ребята на баянах заиграют, кормленные девки придут и лодыри с ними — на отдых, на развлечение ума и развитие мускулов, и ты приходи тогда, если здесь еще будешь, — чего на домашней разрухе торчишь? — ну был дом с отцом, и нету его, — эка штука — дом с отцом! — другой со временем организуешь, без отца проживешь! — а сейчас ступай отсюда прочь, дай мне сообразить!

— А зачем, зачем же здесь парк культуры устраивать! — не понимая, спросил красноармеец. — Кругом же пустая степь, там свежая земля...

— Стало быть, что вот как раз так надобно, что именно тут, а там в степи нам неинтересно, — подробно объяснил Харчеватых. — Чего тут горелому, побитому лесу зря находиться! Жителей здесь нету, и уж считай, что все про здешнюю местность навеки забыли...

— А я не забыл, — произнес красноармеец. — И забыть никогда не могу...

Старшине Харчеватых стало досадно, что постоянно и повсюду есть помехи его неотложным прогрессивным начинаниям:

— Ну ладно — не забыл! Памятливый какой! — дай вот все отсюда прочь уберем, всю эту природу, и ты все позабудешь: того места тогда, где сейчас стоишь, нипочем не найдешь: тут ферверок будет иль квас по кружке отпустить — от жажды. Нам наслаждаться пора! Понял теперь?

— Нет, — удивленно сказал красноармеец. — Я того не понимаю.

— Потом поймешь — не враз!

— Не пойму, товарищ старшина, — робко говорил красноармеец. — Если б я понял, я бы вам работать помог...

— Чего ты не поймешь? Я для тебя же и для вас таких стараюсь! Ты хоть постепенно старайся понимать!

— Я стараюсь, — произнес красноармеец, — а никак не могу... По нашей области в прежнее время пески двигались, их ветер целыми тучами поднимал, товарищ старшина, и они у нас удобные земли губили, от них угодня плохо рожать начинали, вода в прудах иссыхала и реки мелели...

— Ну и что ж тут такого! — недовольно удивился Харчеватых. — Это вполне понятно!

— Потом у нас на летучих песках леса посадили, и пески угомонились, — говорил далее красноармеец. — Сосны выросли и стали на страже, как бойцы. А теперь опять растопчут танцами пески, и они полетят на хлебные поля...

— Что ж, я, что ль, буду тогда, по-твоему, виноват! — воскликнул Харчеватых. — Все одно тут лес замертво лежит!

— Нет, товарищ старшина, — ровным голосом говорил красноармеец, — лес этот живой, в нем новая поросль пошла, а деревья постарше тоже не все умерли, многие потом оживут, я здесь вырос и знаю — деревья валит буря, убивает молния, а они опять потом живут или у них дети бывают...

Харчеватых слушал, а сам улыбался знающим, довольным, обширным лицом:

— Так ты же чушь и невежество мне говоришь, отсталый ты человек! Ты приходи ко мне в четверг на консультацию — я тебе все объясню в целости. Ты науки и техники давно не знаешь! Теперь же нам песок дороже хлеба, может быть, нужен! Из песка же оконное стекло делают! А сколько нам нужно стекла? Да стекло это тоже еще мало дело. Из стекла теперь материю, шерсть и сукно готовят! Понял теперь? А в будущем и еще достигнут кой-чего — может, ты сам будешь еще варенье кушать из песчаного сырья... Песок разводить нужно, а не губить его! У тебя, я вижу, какое-то неверие во что-то есть!

И Харчеватых тут же начал ворочать тяжелый остаточный камень из-под фундамента избушки, изнемогая в усердии ради желанной цели.

— Ишь ты, дьявол, неподатливый какой!.. Смешно и забавно тут будет! Мороженое, компот в чашках, двор смеха в загородке. Я в больших довоенных населенных пунктах бывал — в Москве, в Борисоглебске — и все там видел, все постиг, а теперь обратно свою науку стране отдаю... И тут же силомер будет и труба — на звезды глядеть: где, что и как там, отчего все произошло и куда потом денется; оказывается, мы все из тумана явились — так выходит по науке. А дальше — дальше еще лучше будет!..

Харчеватых возбудился от своего воображения и кричал тонким, но убежденным голосом из маленького рта, расположенного посреди большого, пространного лица, полный явственного представления о близком будущем времени.

— Дальше — вон видишь где — там буфет откроют: харчи, жидкие напитки, вафли, изюм, простокваша, блины, холодец, горячая говядина — что хочешь! Тут целый парад красоты будет, тут прелесть что такое начнется! А ты что стоишь? Говори — хорошо ведь получится?

— Хорошо, — коротко и задумчиво сказал красноармеец.

— А горелое, павшее дерево это тоже в дело пойдет, а золой и мусором мы овраги засыплем, — я всему найду свое улучшение... А сам я потом, если мне состарится когда-нибудь придется, сам я силомером здесь буду заведовать либо конфеты в бумажки заворачивать, — легкая, чистая работа! Туда-сюда, и день прошел, и не умурился, и деньги заработал, и сыт

по горло: везде же знакомство: и на кухне, и в буфете — где пирожок возьмешь, где жамку, где щей с ходу похлебаешь... Так и жизнь доживешь — незаметно, а приятно, в полный аппетит, культурно, с удовольствием, чувствительно и неутомимо вперед!..

И здесь Харчеватых, расшевелившийся всем своим вспотевшим туловищем, запел от радости песню затейников:

Ту-ту-ту-ту: паровоз!  
Пыр-пыр-пыр-пыр: ледакол!  
Ту-ру-ру-ру: самолет!..

Однако Харчеватых не успел закончить эту песнь веселья, потому что он увидел начальника тыла армии, генерал-майора, стоявшего невдалеке и, наверно, уже издавна слушавшего его.

Генерал молча дышал тяжелым сердцем и ничего не произносил, ни осуждения, ни наставления. Харчеватых сейчас же явился на всякий случай перед лицом генерала и вытянулся, как следовало по службе, замерев дыханием. Генерал тихо плакал печальными слезами.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор!

— Обращайтесь, обращайтесь, старшина.

Харчеватых тут же сообразил, как нужно немедленно улучшить состояние генерала.

— Я больше не буду, товарищ генерал-майор... Я сейчас же подвину камень обратно на место, а всю поросль, что ошибочно, бессознательно я топором нечаянно повредил, я нынче же посажу обратно, и она еще лучше будет расти. А деревья, какие чуть-чуть я подсек, так я им ранки глиной замажу, они ничего не почувствуют. А что повалил я там одну или две сосны — это нам на пользу пойдет, на кухню все равно топливо неминуемо нужно... Я теперь, товарищ генерал-майор, все ясно предвижу, что мне необходимо немедленно делать!

— А вот что нам с тобой надо делать, счастливый корнеплод, я не предвижу! — сказал генерал.

— Разрешите — я умру за отечество! — попросился Харчеватых.

Генерал отер платком лицо и задумался.

— Нет, того не надо, корнеплод! Не всякая смерть нужна отечеству, и даже подвиг ему не всякий полезен.

— А я все равно, товарищ генерал-майор, геройствовать буду — на любой области поприща!

Генерал посмотрел на Петра Феофановича Харчеватых и опять заплакал.

1943